

- [Галина Щербакова](#)
 - [***](#)
 - [notes](#)
-

Галина Щербакова
Мандариновый год



Скандал возник неожиданно и, по мнению Анны Антоновны, на пустом месте. Еще секунду назад Алексей Николаевич громкими глотками пил чай, а Анна Антоновна в который раз подумала, какая это у него неделикатная манера. Что бы придержать глоток на секунду во рту, а не шмякать его прямо в желудок? Но, подумав об этом, сказала она о другом, о том, о чем вечером не договорили.

...Два больших паласа на пол обойдется дешевле, чем перестилать паркетом. Ей обещала одна родительница: «Какой хотите, Анна Антоновна, любого цвета и на любой основе». Она ее переспросила: «А размером три на пять не сложно?». «Для вас, Анна Антоновна, ничего не сложно, – ответила родительница. – Вы моей дуре за так даете образование». Анна Антоновна для виду запротестовала, а внутренне согласилась с этим. Действительно, дает образование дуре. Девчонка в девятом классе делает по пятнадцать ошибок в сочинении, и все в простых словах. И никогда не научится

писать грамотно, все знают. Анна Антоновна ее ручкой исправляет ей ошибки, чтоб не опозориться в случае чего. Поэтому, если мамаша может и хочет – пусть расстарается, пусть расшибется хотя бы в ковер. Действительно, где это еще за так, за здорово живешь дают среднее образование?

Сказала она это Алексею с юмором, вот, мол, какая теперь жизнь, а он почему-то стал кричать и обвинять ее в том, что всю жизнь она все норовит сделать абы как. Сколько бы это ни стоило, а надо сделать, как надо. Такая квартира, а пол дощатый, как в избе. Ну неужели она это сама не понимает, неужели не ясно, что никакой палас не спрячет эти доски и все будут видеть: палас на досках, палас на досках, палас на досках! Он так начал орать, что у него на вороте рубашки оторвалась пуговица. Так и ушел с оторванной. Анна Антоновна нагнулась, нашла пуговицу и положила на подоконник рядом с коробочкой с нитками. Вечером надо будет пришить. Нагибалась, искала пуговицу и все думала: как его не пугает перспектива ремонта? Это же все, все, все надо будет подымать с места. Это же разорение на долгий срок, а он ведь даже маленьких перестановок не терпит.

Поведение мужа было настолько непонятным, что Анна Антоновна всю дорогу в школу только об этом и думала.

...Они переехали в эту квартиру три года назад. Что это была за квартира! Три счетчика под потолком, стены такие черные, что она ногтем пыталась выскоблить белую основу и не смогла: стены были черные насквозь. Так вот тогда его, Алексея, надо было убеждать делать капитальный ремонт. Он был согласен на простую побелку и вымытые полы. Она сама, без него все сделала, а полы перестилать не стала. Остановилась. Решила: это уже лишнее. Достаточно хорошо, тщательно покрасить. И он согласился, а сейчас орал так, что кадыком оторвал пуговицу.

Анна Антоновна решила: так просто она ему этот крик не спустит. Он еще попросит у нее прощения, еще поклянчит. Она пришьет ему сегодня пуговицу и скажет: «Ты совсем обхамел. Иди-ка спать в кабинет...» Анна Антоновна представила себе этот разговор и улыбнулась. Такого у них еще не было.

Сделали они ему кабинет в самой хорошей комнате. Купили стенку, софу с двумя креслами, соорудили бар; он вывесил на стенку свою драгоценную коллекцию – ножи, сабли, шашки, кортик. Дурацкое пристрастие, хорошо, что у них дочь, а не сын. Но на стенке все это железо выглядело даже красиво, если не задумываться, зачем нормальному человеку оно вообще нужно. Так вот, ни разу Алексей не спал на этой самой софе в кабинете. А сегодня она пришьет ему пуговицу и выставит из спальни. За двадцать лет первый раз. Пусть поразмышляет под своими пиками о перестилке пола. Идея так понравилась Анне Антоновне, что она почти успокоилась, и все-таки время от времени в течение всего дня у нее вдруг сжималось сердце от предчувствия чего-то непонятного и неприятного. Это же надо так раскричаться, что оторвать горлом пуговицу.

Алексей Николаевич ехал в метро с раскрытой шеей. Знал, что это некрасиво, неоправданно, но даже не пытался как-то сблизить концы ворота, чтоб стало незаметней. Наоборот, крутил шеей, раскрывался, ему даже хотелось, чтоб все видели, что у него оторвана пуговица и

как висит нитка и проглядывает голубая майка. Чем он хуже сейчас выглядит, тем он ближе к своему внутреннему состоянию. Как она ему говорила про этот палас! Разводила руками – три на пять, три на пять! И халат ее от поднятых рук подскакивал выше колен, и он видел ее ноги, почти полностью от широкой разлапистой ступни до белых рыхлых бедер, неприличных от полноты, скрытности и еще чего-то... Есть же, в конце концов, у некоторых женщин ноги, которым идет любой разрез на юбке, любая поза и любая длина. А у Анны все, что скрыто за постоянной одеждой, надо прятать. Развела руки – три на пять! три на пять! – и он вышел из себя, не сдержался. Пуговица вот отлетела. Алексей Николаевич старался не уходить от темы: жена – пуговица – ковер – ноги; он топтался в себе на этом офлажкованном месте, ему важно было закрепить конфликт именно на этих местах. Вика тут ни при чем! Но его хватило всего на три пролета, чтобы не втягивать ее в этот конфликт. Из теоремы дано: Вики нет. Требуется доказать: сегодняшняя стычка была неизбежна и без нее ничего не вышло.

Ворвавшись в мысли, она, Вика, лишила Алексея Николаевича уверенного утреннего гнева. Вот ведь парадоксальная ситуация – ситуация наоборот... Но что делать, если именно Вика не определяла все до резкости, как, например, оторванная пуговица, а делала все расплывчатым и нечетким. Такое уж у нее было свойство: все очевидное делать невероятным. Дело в том, что идея этого проклятого паркета целиком и полностью все-таки принадлежала ей. Лично он пол трогать бы не стал.

...У них это началось два года тому назад. Банально началось. В доме отдыха. Он тогда только похоронил мать, был пришиблен смертью. Именно пришиблен, а не потрясен или убит, потому что считал: мать умерла глупо, если не сказать, нарочно. Могла и должна была жить. Не было у нее ничего смертельного. Неловко сказано, если человек все-таки умер, но это тоже парадоксальная правда. Мать умерла, потому что не хотела переезжать со старой квартиры. Они жили вчетвером в крохотной «двухкомнатке» со всеобщим объединением – ванной с уборной, кухни с комнатой, комнаты с комнатой. Есть такие квартиры в первых пятиэтажках Черемушек. Заходишь в пяточок коридора и все вокруг свое видишь сразу. Мать получила эту квартиру в одном из первых домов первых расселений.

Ликованию не было предела. В общем понятно – выезжали из семи метров, «семи квадратов» говорил отец. Ему было тогда двадцать лет. Великолепно устроились. Он с бабушкой – в большой проходной, отец с матерью – в маленькой. Потом стал приходиться в дом с Анной, и вскоре умер отец.

Они поменялись с матерью местами, он женился, Анна забеременела, и тут умерла бабушка, а родилась Ленка. Мать говорила: «Заколдованная квартира. В ней могут жить только четыре человека». Вспомнить ту квартиру страшно. Вспомнить! Все на расстоянии вытянутой руки. Мать говорила: «Зажрался? А семь квадратов помнишь?» Конечно, помнил. Но то было совсем другое время – время всеобщей бедности. Тогда просто никто не жил иначе. Нет, наверное, кто-то жил, но это был другой круг. И Анна пришла из перенаселённой квартиры, и у его друзей было так же. И все одновременно стали тогда улучшаться, имелось в виду улучшать жилищные условия. Но ведь нельзя же было вечно благословлять эту двухкомнатную каморку с этой невообразимой ее слышимостью, с этой способностью консервировать навечно все запахи. Как он мечтал уехать из нее, как хотел получить квартиру в старом доме с высокими потолками и большой прихожей. И тут освободилась именно такая. Ему сказали: делай все быстро и запасись всеми справками. Он в три дня собрал все и принес. Справку, что мать строила метрополитен. Что отец воевал и умер, в сущности, от ран. Что у Анны в юности был туберкулез. Что он член Союза журналистов. Что у Ленки аллергия. А мать сказала: «Не поеду. Это моя квартира. Хочешь, съезжай». Но кто б ему дал трехкомнатную на троих? Ведь вся тонкость была именно в матери. В том, что она строила метрополитен. Дом был наполовину издательский, а наполовину метростроевский, и так получилось кстати, кем была мать в молодости. Как они ее уговаривали! Анна даже падала в обморок. Он до сих пор не знает, на самом деле или нарочно. Мать пожила в новой квартире десять месяцев и умерла здоровой. Сердце – норма, давление – норма, желудок, печенька, селезенка – в порядке. Умерла от спазма. Тогда сразу ему казалось, что она сделала ему назло. Напряглась, сжала сосуд и, остановив поток крови, ждала, как замирает сердце. Глупо, конечно! Так не бывает, но он так чувствовал.

Вика вытащила его из этого состояния. Вика...

– Так мучиться, – сказала она ему, – и разбирать смерть по деталям может только человек, обреченный на бессмертие. Но вам-то, Леша, это ведь не грозит? Ведь вы же смертный. И попробуйте доживите еще до ее возраста.

Боже, как пришлись ему эти слова! Действительно, он ведь тоже умрет, значит, сравняется с матерью, значит, глупо травить себе душу, и он засмеялся и благодарно посмотрел на Вику. И увидел то, что не видел раньше. Тонкую длинную талию, гладкие, не стыдные ноги, узкое лицо, которое на работе казалось ему то ли лисьим, то ли птичьим, а тут обернулось аристократичностью, что ли? Так оно все изящно стекало к подбородку, что хотелось провести ладонью по щеке, по шее, чтоб почувствовать, как это она вся сделана – треугольно, а плавно, крепко, а изящно. Он до сих пор любит ее гладить. Иногда пальцем ведет от виска до ступни, удивляясь ощущению, что вот-вот она, Вика, кончится, а она бесконечна, ведь от ступни вполне можно возвращаться к виску и будет то же впечатление слабости и силы, убывания и нарастания.

Сначала она его вернула к жизни. И все. Вы не бессмертны, сказала, и он стал счастливым, что именно таков.

Потом она ему объяснила его самого. Какой он. Скромняга. Трудяга. Симпатяга. Он никогда не думал о себе так. Он считал себя ленивым, у него даже был тезис: добросовестность хороша в меру. Он так шутил, а внутренне на самом деле не понимал энтузиазма, а энтузиастов-общественников вообще терпеть не мог, считал, хуже породы нет. Но, понятно, это только про себя. Вслух это не скажешь. Открыто говорил только в том случае, если можно было сказать вот так: «А свою непосредственную работу ты сделал как следует?» Когда ему исполнилось сорок лет, сослуживцы выпустили в его честь газету и поверху написали вот эти именно слова. Вика же сказала: «Брось скромничать. На тебе все держится в печатном цехе». Нет, не так. «На вас держится». Тогда они были еще на «вы». Он помнит, как был смущен и обрадован ее словами. «Нам в корректорской все видно, – сказала она. – Вы все у нас как под стеклом». Это была очень приятная информация. Потом как-то вернувшись от нее, он на одной из планерок сказал о работе линотипистов словами Вики. Директор издательства попросил: «А ну повторите, Алексей Николаевич! Очень точно вы сейчас сказали. Слышали, товарищи?»

С Викой все было хорошо. Умно. Никаких бабьих разговоров, никаких стонов и жалоб! Даже через то, что он никогда не изменял жене и боялся, что может оказаться не очень грамотным мужчиной, она провела его блистательно. И он понял, что не боги обжигают там какие-то горшки, что стоило ему только показать, подтолкнуть, и все у него пошло-поехало как надо. И был тогда момент, что он счел возможным и нужным поделиться новым знанием и умением с Анной, а она засмеялась и сказала: «Да ну тебя!» И ему это понравилось, показалось целомудренным: так и должна была себя вести Анна, полная женщина, учительница, мать девочки-подростка. А он тоже поступил честно, поделился чем мог, не захотели взять – это дело хозяйское. Это только все определило. Вика – это Вика, а жена – это жена. Никогда в голову ему не приходило, что эти фигуры можно поменять местами. До последнего отпуска. Они снова договорились с Викой ехать в один дом отдыха. И все было хорошо, но в последнюю минуту, когда у него на руках были уже и путевка и билеты, ее задержали. Думалось – ну дней на пять, на неделю. А оказалось, что приехала она, когда ему оставалось три дня. И вот этот двадцать один день, что он ее ждал, вывернул всего его наизнанку. Ничего он не мог с собой поделаться, кроме как ждать Вику. Он ходил по пляжу и ждал, заплывал в море и ждал, ел – ждал, спал – ждал, разговаривал – ждал. И тут он понял: не может он звонить Анне в этом своем состоянии ожидания. Все могло сочетаться с этим, преферанс, к примеру, или там танцы под «Белфаст» («Та-та! Та-та! Та-та – тата, тата-тата – тира-рам-пам-пам...»). Анна не сочеталась, а ее письма вызывали омерзение: «Помидоры не дешевают... Хорошо бы тебе привезти ящичек. Бери зеленые, они дойдут, если в поезде. Если самолетом – бурые». Эти «бурые – самолетом» его доконали совсем. Потом проанализировал – и удивился. Он же возил помидоры и поездом, и самолетом, и виноград возил, и синенькие, дыни возил... Да мало ли что? А теперь. «Бурые – самолетом» – и он весь заходится от гнева на Анну. Вот тогда-то пришла и расположилась у него в голове мысль о разводе. Он ее косноязыко в первую же секунду высказал Вике, выхватывая у нее из рук чемодан. «Пора кончать с этими бурными самолетами, – сказал он. – У меня от ожидания тебя парша какая-то на теле... Нам что – сто лет?» Она посмотрела на него и ничего не сказала, но и не спросила, что, мол, за бред ты несешь? Три дня и три ночи он переводил на

русский язык это свое предложение. Вика молчала, была сосредоточенна и сказала, что у нее тоже будет двадцать один день подумать. И он ляпнул, что не оставит ее здесь, что у него уже был двадцать один, больше он не вынесет, надо все решать сразу, не маленькие, хоть

и не старики, конечно. Она засмеялась и уцепилась за это: не маленькие, но и не старики, а люди возраста ума – от тридцати пяти до пятидесяти, поэтому и надо все по уму, а не спонтанно. Он схватил ее в охапку: «Скажи только одно – ты "за" или "против"». – «Конечно, "за", – ответила она. – Я буду думать, как это сделать лучше...»

Она вернулась, и они решили: пока чуть-чуть повременить из соображений политических. У Вики кончался кандидатский стаж. Никто теперь из-за разводов собак не вешает, но у нее другая история. Выходит на пенсию начальница из корректорского цеха. Для Вики это счастливый случай. У нее кончится срок, старуха уйдет на пенсию и лучшей кандидатуры, чем она, им не найти. Если же... Если же они начнут форсировать свои отношения, то ее могут не назначить, так как он начальник близкого по работе цеха, прямые контакты все время и мало ли что могут сказать по этому поводу. В их отношениях три-четыре месяца роли не сыграют, подождать можно, зато потом все будет проще. И даже если ей потом деликатно предложат уйти, то уходить она будет с должности начальника цеха, а не просто корректором. В наше время такими вещами не пренебрегают.

Опять же... Этот срок им нужен для того, чтобы все как следует решить с Анной. Чтоб без истерики, нервов, чтоб как интеллигентные люди, чтоб как можно меньше было потерь, хотя они, конечно, неизбежны. «Какие потери?» – глупо спросил Алексей Николаевич. «Она, между прочим, на минуточку теряет мужа, а ты квартиру, – сказала Вика. – И еще до конца не знаю, что в нашей жизни дороже».

Он споткнулся на слове «квартира» и полетел кувырком. Ну что он – идиот? Что он, закипая гневом от фразы «бурые – самолетом», не представлял себе логического продолжения тех изменений, которые хотел и готов был начать? Он гнал от себя мысли о материальном, вещном, он воображал себе чушь: нежное и трепетное, что клубилось у него в сердце, став легальным и законным, само по себе воплотится в некую реальность, как то: их дом с Викой, их квартира. Чушь!

Вика сидит, вытянув ноги, и спрашивает у него совершенно естественно: «Лешенька, где мы будем жить? Тебе ведь недавно дали квартиру, больше ведь не дадут... Значит, у меня... Господи! Вообразить себе не могу рожу Федорова, когда он узнает, что я привела мужа в квартиру, выстроенную им... Матильда! – скажет он– Я так и знал... Ты будешь помнить меня до гробовой доски». Алексей Николаевич замотал тогда головой: «Этого еще не хватало, чтоб ты его помнила».

Поэтому вариант, который предложила Вика, показался наиболее приемлемым, точным и справедливым по отношению ко всем.

В кооперативную квартиру Вики – две комнаты, большая кухня, кафель, чешская сантехника, моющиеся обои, Сокольники под окнами – переезжают Анна Антоновна и Ленка. Она же, Вика, переезжает к нему. Анна и Ленка фактически получают две трети их квартиры. Если бы он хотел квартиру разменять, они не получили бы большего. Он остается в своей квартире и никогда ни с чем не будет обращаться в издательство. Федоров заткнется, для него Анна – чужой человек, и язык тут не почешешь. Она, Вика, теряет свою квартирную самостоятельность, вещь по нашим временам бесценную, но совсем без потерь не обойтись. Единственное, что она хочет, – пусть они до всего перестелят в квартире пол. В ее квартире потрясающий дубовый паркет, вообще она отдает Анне не квартиру, а конфетку. Федоров ее отделал – будь здоров, ничего серийного, все по индивидуальному проекту: защелки, выключатели, подоконники, краны, форточки. Все сделал сам, вытер руки тряпкой и ушел. «Прости, Гертруда, так хорошо, что даже противно». Четыре года давит на Вику федоровское старание. Если бы можно было все поменять. Но она же не идиотка, она бережет все эти кафели-мафели, потому что знает... лучше ей никто не сделает.

А для Анны вся эта красота будет анонимной, она в глаза не видела Федорова, ей за здорово живешь достанется уникальная, можно сказать, жилплощадь. Так что паркет в их бездарной трехкомнатной квартире – не цена. Так что перестилайте полы, Алексей Николаевич, у вас на это пара-тройка месяцев есть! Он тогда задохнулся от благодарности судьбе за Вику. Боже, как все точно, правильно, разумно! Никакой кровопотери, стерильный вариант. В конце концов Анна должна быть довольна. Он даже представил себе, как повезет

жену и дочь в Викину квартиру и будет показывать разные федоровские придумки. Он даже подумал об этом человеке, которого смутно помнил по его работе в редакции, с некоторой философской нежностью: скажите пожалуйста, как бывает в жизни! Никогда не знаешь доподлинно, чьими руками воспользуешься. А сам Федоров мог ли вообразить в своей квартире Анну? Какие пироги печет жизнь!

...Поднимаясь по дребезжащей железной лесенке в свою клетушку, Алексей Николаевич решил: перейдет сегодня спать в кабинет, а когда Анна потребует объяснений, скажет ей все.

– Рановато, – сказала Вика. – Ну, погоди чуток. Черт с ним, с паркетом, в конце концов, но остальные вещи – серьезные.

– Видеть ее не могу! – Алексей Николаевич потрогал узелок на воротнике. – Перестелет пол, как миленькая. Палас ей захотелось! Ни черта не понимает! Ни черта!

– Перестань! – сказала Вика. – Скандалов не хочу!

В этот день Анна Антоновна была дежурной по школе и в учительскую почти не заходила. Толклась все перемены то в коридоре, то на лестнице, то в раздевалке, привычно кого-то одергивала, не реагируя при этом ни одним нервным волоконцем. Школа Анну Антоновну не раздражала, проблем с учениками у нее не было, она была в ней спокойна, выдержанна; ее ставили в пример как образец спокойствия и выдержки, не подозревая, что такое поведение ей ничего не стоит.

Ей легко думалось в школе о своем. И теперь она думала о конфликте с мужем, о его крике, анализировала весь разговор и так, и эдак.

Ничего в нем не было такого, чтоб горлом рвать пуговицы. И вообще это не было похоже на Алексея. Никогда хозяйственные заботы не занимали его больше чем на пять минут. Он ведь у нее типичный современный мужик, из тех, кто пробки чинить не умеет, гвозди забивает криво, а от капающих кранов у них в ванной растеклось приличное ржавое пятно. И такой мужик хочет перестилать пол! Хочет муку на много дней и недель? Невероятно! Наверное, видел у кого-то, а может, кто-то хвастал паркетным полом, вот он и заерзал. Но одно ясно: ее план перегнуть его сегодня в кабинет – глупый план. Как ей могло прийти это в голову? Разве можно создавать подобные прецеденты? Что бы и как бы ни было – у них общая постель. И пока

она общая – все мелочи. Никаких отделений. Она не будет с ним особенно разговаривать, но он ляжет на подушку рядом, как ложился всю жизнь. Она даже испугалась этих своих утренних мыслей, испугалась той своей какой-то глупой радости, что именно так – отделением – она его накажет. Какая дура! А вдруг ему понравится спать одному под своими палашами и пиками? И станет он убегать к себе от каждого недоразумения. Э, нет! Анна Антоновна благословила свое дежурство, которое дало ей возможность собраться как следует с мыслями, – в учительской чесали бы языки.

Ужин прошел почти спокойно. Капризничала Ленка, не хотела есть жареную рыбу, они оба на нее прикрикнули, но рыбу дочь так и не стала есть, пила чай со сгущенкой и напоказ страдала от вида рыбных костей. Потом Анна Антоновна мыла посуду и замачивала на завтра горох, постирала посудные полотенца и взялась за иголку и нитку. Пуговица так и лежала на подоконнике. Анна Антоновна поддела ее иголкой и так с пуговицей на иголке, пошла за мужниной рубашкой.

Он стелил себе в кабинете. Очень это у него неловко получалось.

Он сообразил взять слишком большую простынь, и она у него свисала к самому полу. А наволочку, наоборот, взял самую маленькую и едва втиснул в нее диванную свою подушку. И одеяло взял, на котором она гладит большие вещи – шторы там или скатерти. Эта беспомощность, неумелость особенно почему-то испугала Анну Антоновну. Получись у мужа все ловко, аккуратно, можно было бы и заорать, и затопать на него ногами, а тут так все нескладно, так все дурно, что приходит мысль: а не серьезные ли у него намерения?

– Что это ты? – спросила она у него и не узнала свой голос, тонкий и какой-то треснутый. Она даже кашлянула, потому что говорить любила своим голосом, а этот был чужой, заемный. Алексей же Николаевич ждал истерики и крика, ждал, что на него будут топтать ногами, и именно на это придумал убийственную фразу – фразу наповал:

«Аннушка, посмотри на себя в зеркало. С таким лицом не в постель ложатся, а вступают в рукопашную». Очень он гордился этой своей фразой про рукопашную. Анна же не заорала, а заговорила не своим голосом и вообще пришла с иголкой, на которой болталась пуговица от его рубашки. Надо было срочно придумать другие слова, а в голову лезла чушь. И он сказал эту чушь.

– Можешь не беспокоиться. Я сам пришью... Для Анны эти слова стали прямо-таки взрывом над головой. Он не умеет держать иголку в руках, никогда не умел. Если уж по гвоздю он попадает с пятого раза, то в пуговичную дырочку он не способен вообще попасть, ни при каких условиях, ни за какую награду.

– Это что за отделение церкви от государства? – спросила Анна. И снова слова вышли из нее треснутые, а если представить, что они еще и по смыслу неумны, то разговор получался совершенно идиотский. Но ком катился с горы, цепляя к себе только чепуху и глупости.

– Это что для тебя – новость? – с вызовом спросил Алексей Николаевич, и Анна вытаращила на него глаза. Что он имел в виду?

– Два года я с тобой фактически не сплю. Ты что, это не понимала? – Она ничего не понимала. Всегда спал нормально, между прочим, спал как муж, и она лихорадочно стала вспоминать последние два года, то-то и то-то и еще это, но все было нормально, не было ничего, что противоречило бы тому, что было пять лет или десять. Все было как всегда. Что значит – не спал фактически, если фактически спал?

– Господи! – сказала она. – Из-за какого-то паршивого паркета так себя ведешь? Вот уж не ожидала! – В этом колеблющемся зыбком мире, в котором говорят треснутыми голосами, единственным устойчивым и материальным был этот чертов паркет, и она за него уцепилась.

– Не то у нас с тобой здоровье. – Она старалась говорить тихо, чтобы не так резала уши сдавленность речи. И вообще надо было сейчас тихо, спокойно объяснить ему, дураку, почему она против перестилки пола, объяснить, что за всеми не угонишься, если он кому-то подражает, а уж с женой ссориться из-за пола – вообще дело последнее.

– Да не все ли равно тебе, мужику, по чем ногами ходить? – Она сказала это даже с улыбкой, призывая его разделить с ней всю комичность их недоразумения: он рвет пуговицы из-за паркета, стелет отдельную постель, лопочет что-то о том, что «это для нее не новость»; посмотреть на них со стороны – кабачок «Тринадцать стульев», а не муж и жена.

Алексей же Николаевич был буквально потрясен неправильностью выводов, которые сделала его жена. Значит, она

ничего не видит и не понимает, кроме паркета?

Она думает, что он – такая баба и способен из-за пола устраивать сцены? Разве в паркете дело? И хоть он помнил просьбу Вики пока ничего не говорить, он посчитал, что сохранение уважения к себе (не баба он, не из-за паркета!) важнее сейчас каких-то других расчетов, поэтому надо Анне сказать, что между ними все кончено, и не сегодня, что пол – это так, повод, убийство эрцгерцога в Сараеве, что все для него лично определилось еще два года назад, что надо такие вещи видеть и понимать, что он, конечно, сожалеет, что так случилось, но так случилось, и уже ничего нельзя изменить, потому что все давно изменилось.

Так он сказал. Контуром, намеком обозначив Вику, к точке своей речи Алексей Николаевич пришел уже совсем удовлетворенный, потому что все время боялся, как он это скажет, а тут так легко все сказало. Анна Антоновна продолжала держать пуговицу на иголке, а когда он кончил, задалась странным вопросом: пришивать теперь пуговицу или нет? И этот маленький бытовой вопрос привел с собой невероятное количество других вопросов. Вся жизнь встала на дыбы, и такая вот вставшая жизнь позванивает и поцокивает у нее над головой, и хочется пригнуться пониже, пониже к самому этому проклятому дощатому полу, который...

– А если бы я согласилась сегодня на паркет? – закричала она своим старым голосом. – Когда бы ты разродился этой своей правдой?

– Ах, Господи! – сказал Алексей Николаевич. – Ну не сегодня, так завтра. Это уже не важно.

Спал он крепко. Он давно так не спал, потому что, засыпая рядом с Анной, всегда думал одно и то же: когда-то (когда?) это будет в последний раз. Вообще надо сказать, что понятиям «первый – последний» он придавал излишне мистическое значение. Всякие рубежи ему давались трудно, и даже там, где плавность перехода была естественной и обязательной, он все равно чертил грань и перебирался через нее, как через колючую проволоку. Так он был устроен. Поэтому, засыпая раньше с Анной, он ждал, когда это будет в последний раз и когда будет в первый раз, как у мужа с женой, с Викой? И боялся, не будет ли жаль Анну и не будет ли разочарования с Викторией, когда отношения перестанут быть урывочными, а будет одна общая постель уже до конца жизни. И тут же приходила мысль о смерти, которая

будет при Вике, и это было страшно, потому что означало: жизнь с Викой – это в конце концов смерть. В общем чушь собачья, он типичный неврастеник, поэтому очень ему стало приятно утром, когда он проснулся на софе и понял, что что-то уже преодолено и уже был этот треклятый последний раз с Анной.

Когда же он увидел почерневшую, постаревшую на двадцать лет жену, он обиделся на нее за этот ее вид. Что за распущенность? Где ее достоинство? Ведь он же держится. Он даже хотел что-то ей сказать про одинаковость их положения, но вспомнил Вику, спохватился, и ему стало стыдно, а Анну стало жалко. От стремительности перехода – то обида, а то просто «жалко, жалко» – у него застучало в висках и закололо в боку. Противная слюна набежала в рот, так и хотелось плюнуть тут же, но он ее интеллигентно – так ему казалось – сглотнул и сказал Анне хорошим человеческим голосом:

– Ты не спала, Аннушка, и зря. Ей-Богу, мы, мужики, этого не стоим. Я еще выдам тебя замуж.

Она посмотрела на него так, что у него снова закололо в боку, и он понял, что легкого и изящного развода у них не будет, что будет склока, что Анна беременна этой склокой, вон какие синячищи под глазами. Это у нее к крику.

– Я не хочу скандала, – предупредил он. – Не мы первые, не мы последние. У вас с Ленкой все будет, я не зверь какой... Я хочу, чтоб мы остались добрыми

друзьями. Хочешь, сегодня поедem посмотрим квартиру?

– Какую квартиру? – спросила Анна.

Он понял, что, торопясь к мирному финалу, выпустил целое звено, и теперь как-то надо объяснить, о какой квартире идет речь, а значит, надо подробно и о Вике. Он растерялся и уже готов был все замять.

– Есть тут один вариант...

– Вариант? – Анна отошла к окну и стала смотреть во двор.

Алексей Николаевич решил, что она так встала, чтобы скрыть слезы, что сейчас они у нее катятся по щекам и, наверное, хватит на сегодня, и так всего много, Поэтому он заторопился, радуясь, что нужно уходить и что все, собственно, уже позади. Он уйдет, она – никуда не денется – будет думать о варианте, а тут он спокоен: то, что ей будет предложено, не просто хорошо – прекрасно. Квартира у Вики

сделана «для себя». Анна повернулась к нему, когда он уже надевал ботинки.

– Так вот, – сказала она голосом серым и каменным, – так вот... Хочешь уходить – катись... Но квартиру я тебе не отдам. Это наша с Ленкой квартира. У тебя есть вариант? Вот и иди туда... Я же отсюда не тронусь... – И она ушла в ванную. Он стоял в одном ботинке, всем телом ощущая неестественность, неудобство. Он сунул ногу в другой ботинок, но неестественность осталась, тогда он подошел к ванной и постучал в дверь. Она открыла ему сразу, в руках у нее была зубная щетка, а рот был полон пасты. И этим брызгающим белым ртом она сказала ему громко и внятно:

– Сволочь ты! Сволочь ты! Сволочь!

Вика пришла к нему в клетушку с мокрыми гранками, и они успели просохнуть, пока он ей все рассказывал. Он даже удивился, почему это у него так долго все получается, разговор с Анной был ведь короткий, а он говорил, говорил, пока Вика не сказала:

– Хватит, Леша, четвертый раз уже не надо... Что случилось, то случилось, – продолжила она. – Тут уже ничего не изменишь. Теперь надо вести себя правильно. Ничего резкого, пока по-человечески не договоритесь. Дай ей и поорать, и побазарить, это нормальная реакция. Но будь стоек в главном. Это ты получил квартиру, а точнее – ты и твоя мать. Ты не гонишь ее на улицу, а предлагаешь прекрасный вариант. Не подкопаешься ни с какой точки зрения. Потом надо привлечь на свою сторону Ленку. Как она?

И вечерний, и утренний разговор прошел без дочери, и как она – он понятия не имел. Привлекать же дочь на свою сторону для него задача непосильная. Так он подумал сразу, но Вике сказал: «Да, да, это сейчас главное!» На этом она и ушла с совсем уже сухими гранками, а он с ужасом представил, как же все будет с Ленкой?

Если было на свете что-то абсолютно чужое ему и непонятное, то это была дочь. Все в ней, начиная с завернутых снизу джинсов и кончая орущей музыкой, было ему противно, вызывало неприязнь и раздражение. Каждый раз, когда они садились вместе за стол и она

начинала пальцами ковыряться в салате, он не понимал, как это могло быть, что эту отвратную девицу он когда-то туго заворачивал во фланелевые пеленки? Как это могло случиться, что у него, очень лояльного во всем человека, родилось существо, которое вслух может сказать вещи, о которых он и подумать боится.

У нее не было ничего святого, разве что модные диски, да и то не святость это, что-то другое. Достоевский же был у нее – сумасшедший, Толстой – кретин, Тургенев – манная каша, от Чехова у нее сыпь... Она говорила это матери, у которой училась литературе, а Анна отмахивалась: «А ну их! Они все такие, пройдет!» Алексей Николаевич в это «пройдет» не верил. Если уважения нет сразу, откуда оно потом возьмется? Из каких ростков? «Пушкина она любит», – говорила Анна. Но Пушкин – это мало. Гений там и прочее, но ведь поэт, а значит, завиток в литературе. Такая у Алексея Николаевича была теория, он с ней никуда не вылезал, но был убежден: настоящая литература – это проза. А дочь читает поэтов, потому что строчки короче... Но и этого он не говорил, допускал, что он в этом деле не очень сведущ... Сам же он читать любил, и читал много, последнее время увлекся историческими романами, любил проводить аналогии, а Ленка могла сказать: «Тебе история нужна, чтоб не думать про сегодня. А мне наплевать, что было раньше. Мне надо знать, что будет завтра». Он ей говорил, что все на свете из вчера в сегодня, а из сегодня в завтра, и тогда она открытым текстом спрашивала его о 37-м годе и, шевеля ноздрями, смеялась: а во что выросло это вчера? Он объяснял, а она махала рукой: на таком уровне, мол, и без тебя знаю. «Но если ты ковыряешься в опричнине...»

– Я не ковыряюсь, – кричал он. – История не салат! Это ты ковыряешься в больном, что стыдно...

– Совесть ты наша болезная! – смеялась она. – Как разволновался! – И уходила, не желала слушать и закрывала уши. Потому что ей не надо было знать истину, ей нравилось свое противопоставлять его. «Перестань, – говорила ему Анна. – Начнет зарабатывать сама деньги, станет кормить своих детей и успокоится. Некогда будет. Всякое вольнодумство от праздности. А эта болезнь нам не грозит. Мы ж не миллионеры». Анна все упрощала. Он – знает – обострял. Но, черт возьми, он хотел ее понять, свою дочь! Почему такая немелодичная орущая музыка ей кажется прекрасной? Почему

надо носить волосы по плечам до пояса, а косы – плохо. Почему не надо есть хлеб? Почему не годится материно шерстяное платье, обуженное и пригнанное ей по талии? Почему ношенные американские джинсы ей лучше, чем новенькие болгарские? Тысяча «почему», на которые у него нет ответа. Поэтому «привлечь дочь на свою сторону» – это не просто задача, которая еще смущает некоторой непорядочностью, это дело, к которому он просто не знает, как подступиться. Ну что и как он скажет? Знай он, что будет скандал, истерика, слова «ненавижу» и прочие, он ей-Богу был бы спокойнее. А вдруг какое-нибудь циничное «о'кей, папа, подумаешь, проблема!» Он же содрогнется от этого. Как бы ни поворачивалась его жизнь, какие бы перемены не готовила, он хочет и всегда хотел, чтоб у дочери все было красиво, чисто, нравственно, чтоб вырабатывала она оценки верные, порядочные.

Запутался Алексей Николаевич в своих мыслях, хоть руби их направо и налево. Получалось глупо: ему было бы лучше, как отцу, если бы дочь осудила его за отношения с Викой. Ему слаще был бы ее гнев. А Вика говорит: привлекли дочь на свою сторону. Как это можно?

Целый день Алексей Николаевич работал, не работая. Как это у других бывает? Сходятся, расходятся, платят алименты, вот Вика разошлась с мужем, говорит, что отношения с ним остались прекрасные. Он ей сказал – так во всяком случае говорит Вика: «Тебе, Евлампия, – квартира, мне – машина». Сел и уехал. Вообще он странный мужчина. Называет всех идиотскими именами, причем каждый раз другими. Он однажды с ним сталкивался, давно, лет двенадцать, а может, и пятнадцать назад. Федоров был еще фотокором, и клише его снимка пришлось подрезать слева. Так он пришел к нему в цех, пришел и сказал: «Слушай, Фердинанд...» Со странностями был мужик, но сел в машину и уехал. Интересно, брызгала на него Вика слюной, кричала ему «сволочь! сволочь!»? Маловероятно. Он вспоминал всех разошедшихся до него и вспоминалась почему-то только благостность. Все друг перед другом совершали только благородные поступки, все только уступали, все вели себя так, что в пору было брачиться, а не разводиться. Но знал, что это не так. Это его собственный мозг вырабатывает сейчас именно такую информацию, потому что хочется ему мирного разрешения всей истории, а на него, видите ли, «сволочь! сволочь!» Конечно, он дурак.

Поторопился. А с другой стороны, когда-то надо? Под всеми этими не очень существенными мыслями пласталась одна, важная, главная. Если бы он взял чемодан и ушел (как Федоров уехал), то ничего бы не было. Тогда бы он мог пригласить сюда, в клетушку, Ленку и сказать ей: «Так уж случилось, прости, мол, и прочее. Ничего мне от вас другого не надо, только ваше прощение. Ты собери мои палаши и дротики в большой мешок, я пришлю за ними шофера». И что б в этот момент не произнесла его непонятная дочь, он был бы недосыгаем и для ее цинизма, и для слез, для мольбы (мало ли что?) и для оскорблений. Такая это была стерильная, но, увы, невозможная ситуация. Все, что угодно... Но отдать квартиру, которую он выстрадал в тысячах приемных, квартиру, которую он обложил миллионом справок, квартиру, в которой он, наконец, почувствовал себя человеком. (Ему объяснили умные люди, что это высота потолков дает ощущение собственной значимости. Низкие потолки давят на человека не столько физически, сколько морально...) Ну почему он должен все это отдать Анне? Ведь справка о ее юношеском туберкулезе у нее была липовая. Были очаги после гриппа – и вся история, у кого их не бывает. Но ее тетка, главврач в тубдиспансере, сделала ей историю болезни. Конечно, он этого никому не скажет, не те сведения, но Анна должна знать, что всегда была здорова, а значит, ее вклад в получение квартиры минимальный. Упала в обморок перед его матерью, а что это был за обморок, покрыто мраком неизвестности. Поэтому не может он взять чемодан и уйти в квартиру Федорова, который считает его Фердинандом. Да и потолки там низкие, ему это плохо, а Анне будет ничего. Она сама говорила: «Шторы на полметра надо длиннее, обоев больше, расход... Два шестьдесят, Леша, выгодней, чем три двадцать...» Вот и пусть едет в два семьдесят, у Вики столько. Он же будет платить Ленке не формально, по листу, а сколько надо. С Викой они договорились, что какие-то вещи она оставит в квартире, диван-кровать, сервант, кухонный гарнитур, все там на своем месте, между прочим со вкусом найденном... Что ей еще надо? Ведь если серьезно разобраться, это тоже почти стерильная ситуация. Анна только должна все выслушать, как человек...

По дороге в школу Анна Антоновна «вычислила» Вику. Алексей Николаевич облегчил ей работу тем, что точно назвал срок – два года. Значит, с той его поездки в дом отдыха, когда они похоронили мать. Был он весь в жуткой неврастении, перестал спать, взвизывался по пустякам, она его решила отправить, чтоб и самой отдохнуть. Сделала тогда перестановку, выбросила материну рухлядь, которую та таскала с собой с квартиры на квартиру. Он вернулся в хорошем состоянии, загоревший, весь пылкий, между прочим... Она тогда удивилась некоторым проявлениям, «новшества» ей не понравились, она даже разозлилась на него, но сдержалась, сказала только: «Да ну тебя!» Теперь понимает откуда шла новация. Но он легко и просто вернулся к привычным отношениям, забылось. Тогда она спросила: «А кто еще был из ваших?» Он назвал кого-то и женщину из корректорского. Потом на каком-то вечере в клубе, в буфете с пивом к ним присоединилась женщина с узким лицом, в бархатном костюме. Он взял ей бутылку «Байкала», и она отошла.

Тогда Анна очень разглядывала костюм, а лицо ей не понравилось. Было оно какое-то очень сухое, а Анна, будучи женщиной полной, всякую сухость не любила, критиковала, считала изъяном. Она спросила Алексея, кто эта «остренькая» дама, он сказал: «Из корректорского». – «Не с ней ли ты был в доме отдыха?» — «С ней», – сказал он. «А откуда у нее бархат?» – спросила она. «Она умеет одеваться», – сказал он. «За счет питания шьет тряпки», – сделала вывод Анна. «Ну почему», – спросил он. «У нее лицо шелушится от авитаминоза», – сказала она. Алексей как-то удивленно сделал губами. Анна ее запомнила. Потом эта женщина мелькнула несколько раз в каких-то культпоходах, всегда в чем-то очень модном, каждый раз они встречались глазами, но не здоровались, корректорша отводила глаза. Однажды Алексей бросил Анну и пошел за ней, и они о чем-то говорили, он вернулся и сказал, что у них производственные проблемы, а на работе он не успел зайти в корректорскую. Анна поверила, потому что, кроме нарядов, ничего в этой женщине не было такого, чтоб волноваться. Были звонки домой. «Да... Да... Да... Обязательно... Да... Да... Понял... До свиданья...» Из корректорской, говорил он. Если сейчас все это обозреть, все было шито белыми нитками. Корректорская, корректорская, корректорская, корректорская... Но тогда Анна ничего не замечала. Просто все ее

охранительные посты всегда стояли в другом месте. Она, например, боялась своей троюродной сестры, красивой элегантной девки двадцати восьми лет. Она приходила и вешалась на Алексея. «Я породственному, – говорила она и садилась к нему на колени. – Покачай меня, зятек!» И он ее качал, и делался красным, а та говорила: «Такого хочу мужа, чтоб качал... А их нет. Вывелись. Один есть, и то твой, Анюта».

Анна застывала от страха, когда приходила эта треклятая сестра. Могла сказать: «Зятек, застегни сапог!» И он ползал по полу и молнию вел медленно-медленно, а Анна в этот момент мысленно рвала ее к чертовой матери. Она думала: эта стерва может увести. И баррикадировалась. Рассказывала ей, что у Алексея масса изъянов. И с возрастом Их все больше и больше. Например, хронические запоры. Это хуже нет! И всегда с геморроем... Сестра смеялась: «Бедный мужик!» А Алексею она рассказывала, что у той тоже есть одно заболевание, нет, нет, приличное, но все-таки. Такую вот интригу плела Анна в месте предполагаемой опасности. А тут на тебе, гром грянул с другой стороны.

Вычислив Вику, Анна не то чтобы успокоилась, а просто поняла, как надо себя вести. Во-первых, никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не соглашаться ни на какой передел квартиры. Хочет уходить – пусть идет с чемоданом. Эта квартира Ленки. Девчонка кончает школу, может выйти замуж, пойдут дети. Три комнаты не то что много, а в самый раз. Алексею положена площадь? Положена. А она разве его гонит? Пусть строит со своей шелушащейся дамой кооператив, пусть снимает квартиру, все движения – его. Она же будет стоять на месте. Более того, она не сразу ему даст развод. В конце концов, если он интеллигентно уйдет, она, конечно, согласится. Но пусть он похлебает всех этих удовольствий полной мерой. За предательство надо отвечать. Перед кем? Перед ней! Бога отменили, совестью не разжились, вот она ему и будет и Богом, и совестью, и парткомом, и месткомом. Он у нее покружится, сволочь проклятая. И Анна почувствовала во рту вкус болгарской пасты «Поморин». Она приготовилась бить мужа наотмашь, ногами, в сплетение, в пах, она думала: «Ни одной минуты этой ночи без сна не прошу никогда». Пока же в школе она решила никому ничего не говорить, потому что до сих пор в учительском коллективе слыла благополучной счастливой женой,

очень этой своей репутацией гордилась, мысль, что может ее потерять, казалась страшной самой возможности развода. Черт с ним, с мужем, а вот войти в братство одиноких женщин, дев, братство брошенных – это не доведи Господь! Это совсем другой мир, который был ей неприятно жалок, она школу в конце концов приняла и даже как-то по-своему полюбила, потому что было в ней это противоядие – нормальная семья, а у половины их учителей этого не было. И то, что развод разрушит и ее положение в школе, а значит, у нее начнется другая жизнь – может быть, было самое страшное.

Сорок три года у замужней женщины – это почти акме, это расцвет, сорок три одинокой учительницы – это бесконечно унылая дорога на многие годы с одним единственным пейзажем. Ревнивая собственница, Анна вдруг подумала: ради положения в школе согласилась бы на невероятное, на то, чтоб у Алексея были любовницы. Черт с ними, был бы он дома, был бы он мужем! Но тут же она отогнала эти мысли, как мысли слабые, жалкие. Унижений ей еще не хватало. Нет уж! Надо побороться. Надо все узнать про эту шелушащуюся бархатную крысочку.

Вечером Алексей Николаевич поехал к Вике. Она заварила кофе, они выпили по три чашки, и он, смущаясь, сказал ей, что кофе, конечно, хорошо, но он бы что-нибудь съел.

– Господи! – воскликнула Вика. – Я идиотка!

Почему-то он думал, что у нее ничего нет и ему придется ее успокаивать, что, мол, не умру, не тот случай. Но у нее все было, и кусок отбивной, и картошка была начищена и залита водой, и кетчуп был, и оладьи она сделала в пять минут из блинной муки, и варенье у нее оказалось клубничное – ягодка к ягодке, она поставила его в фигурной розетке, и ему захотелось плакать. Это, конечно, было глупо, тем более что плакать с набитым ртом не получалось, но в душе он плакал от благодарности, умиления и еще черт знает от чего, от салфеток, что ли, на которых ему подавала Вика. На одной все поставила, другую ему на колени положила, а третью, такую же, сама в руках держала. И в то же время была в этом ужине даже какая-то

неприличная праздность, которой не годилось быть повседневной, и приходила мысль о том, что все это момент, случайность, не более того...

Удивительное существо Вика, но она учуяла эту его мысль. Села рядом и сказала: «Так бы и остаться тебе у меня навсегда... Не гостем...» Он не сказал ей ничего, просто прижал к себе, а сам подумал, что гостем он тут будет всегда, потому что в этом доме живет тень Федорова. Он никогда не отделается от этого чувства. Нет, нет! Мужик должен приводить женщину в свой дом. А его дом – это кабинет с софой, со стеной, на которой его коллекция. Квартира, которую он «выбил» в инстанциях, и какого черта он должен от нее отказываться? Другое дело, если б ничего не предлагал взамен Анне, но ведь он же не подонок, он устраивает ей идеальный вариант.

– Я понимаю, – сказала Вика. – Тебе нужна та квартира. Твоя. Хоть вы и лопухи, так и не сделали в ней человеческие полы. Ладно, езжай домой, подождем, как будут развиваться события.

Ему не хотелось возвращаться, но Вика объяснила: нельзя давать Анне оснований думать, что у него есть где ночевать. Это было бы для нее козырем. Он должен приходиться домой. И, ради Бога, не скандалить. Что сказал – то сказал. Теперь же надо ждать. Будет сама нарываться – уйти, запереться. Спрятаться. А вот с Ленкой поговорить надо, это ее тоже касается, ее этот обмен вполне может устроить. Сокольники рядом, каток, танцплощадка. И вообще молодые любят перемены, а Вика оставит ей в комнате гобелен с зайцами, такие чудные белые красавцы на изумрудной траве. Глупый гобелен, если вникнуть в суть, на траве зайцы бывают серые, тут несоответствие – зимние зайцы, а пейзаж летний, но это только он и заметил, вообще у него на такие вещи глаз острый.

Они поцеловались с Викой по-родственному, без страсти; уже в лифте он удивился этому и обрадовался, что вот уже до чего у них дошло, расстаются, как муж с женой, совсем недавно так у них не получалось. Вышел из подъезда и внимательно осмотрел двор, хороший, ухоженный двор, лучше, чем у них, и в подъезде чисто, и стены выкрашены не зелено-казенной краской, а светленькой желтой охрой. Он представлял себе Анну в этом дворе и подъезде и считал, что ей это должно понравиться.

Дома пахло жареными грибами, которые он любил. Кастрюлька была накрыта куском старого байкового одеяла, приспособленного именно для сохранения кастрюльного тепла. Анна гладила ему рубашки. И то, что жареные грибы сохранялись в одеяле, а Анна стояла с утюгом, вызвало у него раздражение. Казалось, успокойся – скандала не предвидится. Похмыкай, наконец, про себя – две женщины наперегонки кормят тебя вкусным, но он чувствовал, как закипает. Алексей Николаевич не знал, как не знала этого и Анна Антоновна, что вступили они в отношения, когда любой шаг и поступок, любое слово и взгляд обречены на перетолкование. Тут хоть тресни, а в «да» услышат «нет», а улыбку поймут как издевательство. Они не знали, что фатальность непонимания будет расти, как ком, что самое отвратительное, что могла сделать Анна сегодня, – это приготовить ему грибы, а самое гадкое, что мог сделать он, – это тщательно, носок к носку поставить ботинки, пальто повесить на плечики, а портфель не бросить, как обычно, а определить – как тщетно раньше просила Анна об этом! – на ящик для обуви, под вешалку.

– Садись, ешь, – сухо сказала она сглотив эту отвратительную ей сегодня тщательность.

– Я сыт, – ответил он, подавляя в себе тошноту от запаха самой любимой своей пищи.

Они не говорили в этот вечер, потому что сразу обессилили от этого секундного разговора.

И они второй раз в жизни спали врозь. Но на этот раз Анна Антоновна уснула крепко, потому что не спала предыдущую ночь, а Алексей Николаевич, наоборот, уснуть не мог, думал, думал. И все об одном: ему хорошо тут, в кабинете. Какой человек, в сущности, медведь, ему нужна своя берлога. Представлял будущее: Анна переедет, а Вике он отдаст спальню, пусть она там вьет себе гнездо, кабинет же он трогать не даст. Идеально у него тут, идеально. Все, что любит, рядом. Исторические романы, дорогие его железки, бар... Бар, конечно, пижонство, он пьет водочку, а ее надо держать в холодильнике, но все равно приятно.

«Тебе вермут или сухое?» – и щелкаешь дверцей, и сверкают тебе рюмки и фужеры, сидишь в креслах, красиво так получается. Конечно, все это форма, не дурак он какой, чтобы придавать этому особое значение, но когда у тебя это уже есть, то гоже ли все это ломать из-за

глупой вздорной бабы, которая никогда бы в жизни такую квартиру не получила? У них в школе никто квартир не получает, это, конечно, непорядок, но это так. Плохо у нас все-таки относятся к педагогам. На бумаге хорошо, а на деле...

Думалось ему и об этом. Он воображал себе, Как бы сделал, если б его спросили. В первую очередь он обеспечил бы всем необходимым врачей и учителей. Он где-то прочел древние слова о том, каким должен быть врач:

Мягкости полон пускай приближается врач и, одетый
Безукоризненно, палец украсив сверкающим перстнем.
Чтобы ценили его, пусть коня заведет дорогого...

Как хорошо это, про коня и перстень.

Он вздрогнул, услышав, как щелкнул входной замок. Вернулась Ленка, а на часах было уже 12.15. Это было запрещенное время, и еще позавчера они бы ждали ее с Анной вместе, и Анна время от времени подходила бы к окну, а он просто слушал бы лифт и по стуку дверцы определил бы, когда приехала дочь. А тут он весь вечер расселял врачей и педагогов по хорошим квартирам со всевозможными удобствами, цитировал древние стихи, а про Ленку ни разу не вспомнил, а она шлялась черт знает где. Он решил встать и спросить, что значит эти пятнадцать минут первого, но подумал, что и Анна начнет задавать вопросы, а значит, неизбежен общий разговор и неизвестно еще, чем он кончится. Он не знал, что Анна уснула крепко, что первый раз в жизни она не была озабочена отсутствием дочери и со стороны уже хорошо видно, как все у них лопнуло и растягивают их в стороны центробежные силы, и как крошит и ломает их эта сила движения. Но они еще этого не знали. Анна спала, и ей снился спокойный нейтральный сон, Алексей Николаевич же, повозмущавшись мысленно дочерью, вернулся в наезженную колею всеобщего справедливого переустройства, раздавая учителям и врачам коней, слонов, моржей и тюленей.

Ленка же, премного удивившись тому, что никаких собак на нее не спущено, поела жареных грибов, уже остывших, по закрытой двери в кабинет поняла, что отец и эту ночь спит там, на секунду задумалась, что же могло произойти между родителями, но тут же решила: ничего

стоящего ее раздумий произойти не могло. Родители представлялись Ленке исключительно неинтересной, но крепко притертой парой. Мама уже десять лет как распустила пузо, носит эти свои неизменные юбки и кофты навыпуск. Да они все такие, их учителя, одна только географичка одевается, как картинка, но все знают, у нее муж выездной, время от времени коллективу учителей что-то от нее перепадает. И это всегда сразу видно: на затрапезу напяливается что-то совсем другое, и они тогда смеются: «Одежка с барского стола географички». И у нее, Ленки, есть джинсовое платье, которое той сразу было узко. Мама, конечно, могла бы сбросить килограммов пять —десять и постричься, а не ходить с этим идиотским пуком на затылке. Папа тоже не Аллен Делон, хотя они почти ровесники. По чертам лица папа ничего. Но как одевается! Как стрижется! В домашней обстановке они два чудовища. Мама в коротком халате с оторванными пуговицами, папа в трико с пузырями на коленях и каких-то линялых майках. Видеть их невозможно, а они ничего, похихикивают, иногда даже целуются, она всегда кричит: «Не при мне! Не при мне!» А они довольны, наверное, принимают этот ее крик за что-то другое. Ничего не может произойти у этих двух проросших друг в друга людей. Так решила Ленка, уходя к себе. Ничего! А может, у мамы климакс? Ленка бухнулась в постель, еще секунду подумала про то, что удачно получилось, что они ее не ждали. Все-таки самый противный разговор на свете – разговор на тему, где ты был. Потому что очень часто отвечать на этот вопрос не хочется.

Чижик-пыжик, где ты был?

На Фонтанке водку пил!..

Выпил рюмку, выпил две...

Сладко уснула Ленка, спала Анна Антоновна, проваливался в короткие сны Алексей Николаевич, выныривал и снова проваливался, и неумолимо приближались утро и день, в которых полагалось говорить, действовать, принимать решения.

Что бы ночам всегда быть длиннее, а дням короче?

Но день оказался длинным и гадким. Когда утром Алексей Николаевич сказал Анне, что, мол, напрасно она упорствует, что то, что он ей предлагает, прекрасно, что им будет хорошо с Ленкой в

удобной изолированной уютной квартире, можно хоть сегодня посмотреть, Анна Антоновна ответила ему спокойно и даже с достоинством:

– Ты хочешь перемен, ты и передвигайся. Ты рвешь, так пусть шов идет по тебе. Разве это не справедливо? Если там так хорошо, то и тебе там будет хорошо. Мадам же, кажется, бездетная? Так почему же вам двоим нужна трехкомнатная, а нам с Ленкой хороша двухкомнатная? Что это за странная арифметика – для себя и для других?

– Это моя квартира, – сказал он.

– Ты ее построил? – спросила она.

– Ордер на меня, – сказал он.

– Ты прекрасно знаешь, что ордер чепуха, – ответила она.

– Ты категорически? – Спросил он.

– То есть... абсолютно... – ответила она.

– Я буду бороться, – сказал он.

– Ух ты, как страшно, – ответила она.

– Не ожидал... Не ожидал... – скорбно покачал он головой.

– Вот это да! – возмутилась она. – Он завел себе бабу и ждет, чтоб я ему создала условия! А неприятностей в парткоме не хочешь?

– Не то время! – парировал он. Но парировал настолько быстро, что Анна Антоновна почувствовала: этого он боится. То или не то время, а лучше бы никаких объяснений, так она поняла эту поспешность, не зная, что не об этом он думает. Он думает и беспокоится о Вике, потому что у нее как раз срок, и она же его просила ничего сейчас не делать, а он, как дурак, все опять начал.

– Надеюсь, что у тебя хватит ума не позориться, – сказал он.

– У меня хватит ума, не беспокойся, – сказала она.

План был такой. Она сходит в райком посоветоваться. Никаких заявлений после себя не оставит, только придет. Никакой ответ на самом деле ей не нужен. Ей нужна самортизированная расстоянием – от райкома – реакция, которая мер не предусматривает, а отношение атмосферы создает. Пойди она непосредственно в партком, его бы сразу вызвали и пошла писать губерния, ей было бы хуже: склочница, баба, и то и се. Здесь же – другое. Она скажет: мне страшно, горько, порядочный

был всегда человек, а тут не то что кричит, блажит о квартире. Не он это! Не он! Превращение ее пугает, не сам факт измены. Превращение. Она так скажет, и именно такая спустится вниз, в издательство, реакция. И Алексею надо будет как-то объяснять эта свое превращение. В общем, это хороший ход.

Анна Антоновна надела свой лучший костюм – синий кримплен, голубая водолазка, янтарная брошь, волосы сделала модным валиком. Ей так шло, но уж очень ненадежная прическа, в школу не поносишь, быстро рассыпается, а на какой-то час вполне годилась. Она знала, что так выглядит хорошо, и это тоже правильно. Никаких конвульсий. Не держит она его за фалды, она озабочена его превращением.

Так она вошла в кабинет инструктора. Она не знала, что это был первый день работы инструктора после тяжелой болезни. Инструктору удалили грудь по поводу рака, удалили удачно, тщательно, но женщина, которая встретила Анну, всем своим существом ощущала левый протез, боялась, что он заметен, а главное, была убеждена, что все у нее плохо, что метастазы остались, а ей, конечно, этого не скажут, что ей отмерен небольшой кусок жизни и его надо употребить с толком: обеспечить будущее мальчика, которому двенадцать лет. Инструктор решила выйти на работу и всю зарплату, до копейки класть на имя мальчика с тем, что когда ее не станет... И еще ей хотелось получить лучшую квартиру, чтобы у мальчика была своя большая комната. Она себе наметила три года жизни и хотела многое успеть сделать.

Поэтому здоровая, цветущая Анна Антоновна, с мощным бюстом, растягивающим тонкую водолазку, не могла вызвать ни симпатии, ни сочувствия. А тут еще эта изысканная речь о каком-то превращении. Инструктор поняла все сразу, поняла, что эта причесавшаяся на раз учительница хочет ее руками приструнить давшего деру мужа. Она будто бы плетет кружево, а на самом деле металлическую сеть, но сама бросать сеть не хочет. Предлагает сделать это другому. Ей, инструктору. Какое у нее наглое здоровье! И как это противно возиться с проблемами людей, у которых впереди целая жизнь.

– Что вы, собственно, хотите? – сухо спросила она Анну.

– Я беспокоюсь, – ответила Анна.

– А если он оставит вам квартиру, вы не будете беспокоиться?

– Это будет нормальный поступок, – ответила Анна. – У нас ведь дочь!

Инструктор подумала о своем мальчике, представила время, когда ее не будет, все у нее внутри закричало, заныло, застонало, несравнимой была та боль, что была у нее в душе, в той, что ей предлагали в рассказе.

– Пишите, – сказала она Анне. – Будем разбираться. – Она знала, что Анна писать не будет, потому и предлагала ей это.

– Боже сохрани, – сказала Анна. – Какими словами я заговорила в вашем учреждении! Конечно, я не буду писать.

– А что я должна делать? – спросила инструктор.

– Я понимаю, – сказала Анна. – Такие вопросы... Ну считайте, что я у вас не была. – И она поднялась, зная, что, в сущности, что надо, сделала. А инструктор смотрела на пустой стул и думала: а что бы мужику, мужу этой просительницы, на самом деле не взять и не уйти с чемоданом? Ну что они за люди? Применила ситуацию к своей семье. Она теперь калека, и муж у нее, если говорить честно, не из лучших, – в командировках в гостинице его не найдешь, – так неужели она ему что-то уступила бы? Инструктор почувствовала, как сжалось у нее под эластичным протезом, и она потеряла его и испытала ужас от соприкосновения с чужеродной материей, которая для всех людей теперь часть ее самой. И к этому надо привыкнуть, а и не привыкнет – черт с ним. Три года пройдут, как три дня...

В дверь постучали, но она крикнула: «Подождите!» – и набрала телефон парткома издательства и своим обычным, насмешливо-ироническим тоном спросила у своего старого хорошего секретаря парткома:

– Ты что, Павлуша, распустил своих начальников цехов? Они у тебя кобелируют, как мальчики!

Тот заохал: «Ты уже вернулась? Ай да молодец! Да мы тут без тебя... Ей-Богу, не вру!.. Не ходи больше к врачам, я принесу тебе облепиховое масло, мне с Алтая привезли целый бидон. Дам, сколько надо... Кобелируют начальники цехов? Так это ж хорошо! Какой у мужика в жизни еще может быть стимул?

– Выговор по партийной линии, – сказала инструктор, – тоже хорошо стимулирует.

Потом она вкратце, без эмоций (она была женщина добросовестная) поведала о приходе в райком Анны. И о том, что никаких бумаг не оставлено, поэтому можно было бы ничего и не делать, но тем не менее лучше им все знать, чем не знать. Так вот, пусть он абсолютно деликатно, но информацию все-таки соберет. Дама сердца тоже ихняя. Из корректорского цеха.

– А! – закричал секретарь парткома. – Все сразу понял. В столовку ходят вместе. Ничего дамочка, разведенная, и кандидатский срок у нее кончается.

– Ну ты там не шустри, – сказала инструктор, – по этому поводу.

– Я же тебе сказал, что считаю это стимулом производственной деятельности. – Секретарь засмеялся, но не понял, почему инструктор положила трубку. Она же легла лицом прямо на стол и думала: три года жизни, три года... Мальчику будет всего пятнадцать... У него еще не будет паспорта.

В этот день Алексей Николаевич обедал с приятелем из производственного отдела. Сцепились в очереди с подносами по поводу оборудования. Пока какая-то женщина не крикнула: «Да заткнетесь вы хоть тут! Мало вам совещаний? Пища из-за ваших разговоров киснет!»

Они засмеялись и замолчали, а потом сели удачно, за столик на двоих, у самого окошка.

– Знаешь, – сказал Алексей Николаевич, – я развожусь.

Приятель так поперхнулся, что пришлось постучать ему по спине и по загривку.

– Ну, ты даешь, – прохрипел он. – Разве можно такую информацию на сухую? С чего вдруг? Ты ж недавно квартиру получил?

– При чем тут квартира? – возмутился Алексей Николаевич. – Какой-то у тебя странный поворот.

– Ну знаешь, из-за чего сыр-бор, я как-то сообразил. Бесподобная Виктория, что ли? Так что считай, вопрос о квартире – вопрос для меня главный.

– Здесь нет вопроса, – фальшивым голосом ответил Алексей Николаевич.

– То есть? – не понял приятель. – Неужели оставляешь?

Алексею Николаевичу показалось неприятным, что первым естественным выводом был у приятеля этот – оставляешь. Как будто нет других хороших возможностей! И он хотел это сказать, но приятель начал сам.

– Не советую, – сказал он. – Не советую. В нашем с тобой возрасте идти под чужую крышу все равно что силу потерять. Все играет значение, как говорят в Одессе. Ты или хозяин, или опять Же, как говорят в той же Одессе, примак. Я бы лично к бесподобной Вике в примаки не пошел.

– Почему? – спросил Алексей Николаевич. Нить рассуждений о квартире была ему в целом приятна. А что он имеет против Вики?

– Да потому, что квартиру ей оставил Федоров, квартира кооперативная, твоих в ней денег нет, а вдруг у вас дело не пойдет? Разве можно за будущее ручаться. Ты сколько с Анькой живешь? Двадцать один год? Срочок, братец мой, срочок! Я вообще считаю, что после таких лет разводиться нельзя. Ты сам не знаешь, как вы привыкли друг к другу. Тут же все опять же играет значение – и запах, и вкус, и цвет...

– Перестань, – сморщился Алексей Николаевич.

– Да я понимаю: когда уже до этого доходит, то все бывает наоборот. Ладно, пусть... Но в примаки не ходи... Или уже пошел, идиот?

– Да нет, – сказал Алексей Николаевич. – У нас стадия обсуждения. Анна упрямится.

И он рассказал этот свой идеальный вариант и встретил полное и безоговорочное понимание.

– За это и держись, – сказал приятель. – Не давай бабам крутить тебе мозги. Конечно, тут есть одна страдательная сторона – Ленка. А ты знаешь, что ей скажи? Мол, оставайся, дочь, со мной. Моя квартира – твоя квартира и всякое там разное...

Последнее ошеломило Алексея Николаевича. Ни разу не пришло ему в голову, что дочь может остаться с ним, не соединялась она вместе с Викой. Конечно, Ленка останется с матерью. Но, с другой стороны, он же вправе и обязан предложить ей такое? Он скажет ей:

«Оставайся в своей комнате. Наши с мамой дела тебя не должны трогать».

– Ты мне подбросил идею, – сказал он приятелю.

– Я добрый, – ответил тот. – Только дохлая эта идея. Ленка и Вика? Я представил это на минуточку и содрогнулся.

– Почему? – спросил Алексей Николаевич.

– Черт знает, почему, – засмеялся тот. – Все твои бабы – штучки. Я это давно понял. Хотя, с другой стороны, а какими им быть в наше время?

Тут Алексей Николаевич мог бы кое-что сказать. У него была своя теория женской загруженности, которая звучала примерно так: «Слухи об этом несколько преувеличены». Время, время... Оно одно для всех, для мужиков и баб. И мужикам всегда было и есть труднее. Он так считал, но с приятелем заводить не стал. Не момент. Они забросили в горло ягоды из компота, отплюнули косточки и разошлись по своим рабочим местам. Правда, расходясь, у лестницы, приятель не выдержал и сказал: «И нужна тебе вся эта возня? Менять женщин в наше время (что он прицепился к бедному времени?) пока еще неэкономично. Дорого, а значит, глупо... Ей-ей, Леха!» И он ушел.

Алексей Николаевич поднимался в клетушку и думал о себе хорошо. Не такой он циник, чтобы все переводить на деньги и выгоду. Здравый смысл – прекрасно, но есть же что-то и повыше? Он боялся сказать себе «любовь», потому что считал это слово несколько дискредитированным. «Не будем его говорить, – шептал он Вике. – Я просто без тебя не могу». Вот это точно. Ленку, дочь, он, наверное, все-таки любит, но он может без нее. Может! Хотя, тем не менее, он предложит ей остаться с ним, пусть решает...

Из окна корректорской было видно то самое окно столовой, возле которого обедал Алексей Николаевич. Увидев его, Вика бросилась было бежать к нему, а потом перегнулась и высмотрела, с кем он, и бежать передумала. Вика не любила этого приятеля, не любила беспричинно, хотя это неточно сказано. Причин, каких-то там фактов, поступков, слов, конечно, не было, но была внутренняя концепция,

выработанная годами, и по этой концепции приятель относился к тем мужчинам, которые изначально враги, что бы они не делали и как себя не вели. Эта их разрушающая все и вся логика. Это недоверие к их, женской, интуиции, пренебрежение к их работе, неуважение к их запросам, сугубо женским, отличительным. Вика за версту чуяла таких мужчин и старалась, чтобы пути с ними не пересекались. Они и не пересекались. Вот только с Федоровым вышла у нее промашка, но Федоров нечистый тип, это ее и сбило с толку. Сколько она еще будет его вспоминать? Пока не уйдет из его квартиры. Вот человек! Облагодетельствовав ее, он обеспечил ей вечную муку. Как они вылизывали эту квартиру! Как искали интерьеры, чтобы «ни у кого и никогда». Тысяча его придумок, пристроек, удобных, красивых. Когда вбил последний гвоздь и отполировал последнюю дверную ручку, то сказал странное: «Так хорошо, что даже противно». Она не придала этому значения, на жостовском подносе поднесла ему любимый его вермут со льдом. «С окончанием работ!» – сказал он, посмотрел на нее внимательно, и она, идиотка, и этому его взгляду не придала значения. Она была такая тогда счастливая, что стала просто глупой. Через три дня, собрав чемодан, он ушел.

«Будь счастлива, Суламифь, и не поминай лихом. Моторчик я забираю».

Ничего она не могла понять, ничего. Его поступок был иррационален, в нем не было причин, корней, это было равносильно скоропостижной смерти в расцвете сил. Правда, у нее хватило ума не биться в истерике. Она подождала несколько дней, навела справки. Сказали, что он уехал на какую-то стройку делать снимки для какой-то юбилейной доски почета. Потом он вернулся и поселился в квартире приятеля, который уехал за границу. Она позвонила ему! «Как живешь, Лисистрата? – спросил он. – Фонарики в ванной работают?» Она, неестественно похахатывая, спросила, когда он собирается вернуться, чтоб она успела вымыть шею. «Клотильда, душенька Кло! – сказал он. – Не надо так шутить. Мне больно... Хочешь совет друга? Выходи замуж... Я просто буду счастлив!» И она ответила ему, что, конечно, так и поступит, и начала совершенно идиоте-

кий разговор о вещах. Что, мол, он собирается забрать, а что оставить? Это, дескать, важно, и очень хочется, чтоб было почетному... «Все твое!» – сказал он и положил трубку.

Она так и эдак перебирала их жизнь, раскладывала ее по дням и фактам, классифицировала по чувствам. Ничего не получалось. Ничем не отличался день первый от дня последнего. При ней он бросил фотокорить в газете и ушел «в дизайнеры пропаганды». Его выражение. Всякие там стенды, выставки – это было по его части. Друзья-приятели говорили: «Дурак!» И все толкали его носом в снятый им когда-то пейзажик – береза и черная вода под снегом. Об этой черной воде под снегом много писали критики фото, а сам пейзажик обошел все специальные журналы.

Так вот его толкали носом в эту черную воду и вопрошали: «Как можно уйти от этого? Ты же художник!.. Такой воды еще не было!»

Приятели размахивали руками, а он улюлюкал. В прямом смысле этого слова. Приставил ладонь ко рту, как-то шевелил пальцами и издавал какой-то дикий индейский клич. Он всех тогда переулюлюкал. Она же, Вика, чем несказанно гордилась в то время, на пути мужа не становилась, решение его приняла должным образом: «Раз ты этого хочешь...» Потом, правда, удивлялась про себя, тихонько: за все три года, что она с ним прожила после этого, а всего они прожили пять лет, он не принес больше в дом ни одного пейзажа, ни одной «картинки» (его старое определение). И когда они украшали свою новую квартиру и она вытащила из стола этот самый пейзаж с черной водой и стала прилаживать его к стене, где бы он лучше смотрелся, он взял его у нее из рук и сказал: «Ни за что, Марфуша, ни за что!» Она поняла это так: он подавил в себе что-то ценное, дорогое и не хочет напоминаний! Полезла к нему с этими своими соображениями, и он сказал: «Давай не будем, а? Но чтоб ты не волновалась, скажу одно: никакой внутренней неврастении у меня нет. Я не пациент для психоаналитиков». Дело прошлое, но как она его тогда любила! Как он ей нравился какой-то своей мужской «настоящестью», а ведь был некрасивым, невзрачным, роста небольшого, лысый и нос шляпочкой на конце. Алексей по сравнению с ним – Давид. И вообще Алексей – это другая история, другая жизнь, она сама – другая Вика. Та ее часть, что любила Федорова, умерла и рассыпалась в прах. Какое-то время она жила с ощущением «увлеченности». Ей даже казалось, что со стороны заметно, как зияет в ней пустотой эта выгоревшая половина, что и ходить она стала криво, потому что потеряла равновесие, и теперь приходится расставлять руки, чтобы балансировать при ходьбе.

Ей даже «говорили: «Что у тебя с походкой? Ты не хромаешь?» Она так и не сумела живым зарастить внутреннюю пустоту. Она заложила ее камнем. И к Алексею прибилась другой половинкой своего существа и обнаружила, что в другой ее части все по-другому – другие слова, другие мысли, другие силы притяжения;.. Алеша т робкий, неуверенный в себе человек... Поэтому она боится, о чем он говорит с приятелем. На что его тот повернет? Не то что Алексей совсем уж безвольная натура, нет, но приятель его – циник, скажет что-нибудь, а Алексей будет мучиться, страдать.

Вечером Алексей сказал ей про вариант с Ленкой. Вика прямо задохнулась. Не зря она боялась, не зря закололо у нее в сердце, когда из окна высмотрела его в столовой. Но она увидела в глазах Алексея такое желание поддержать его в этой идее, что как там ни скрючилось все у нее внутри, а сказала она бодро: «Конечно, ты должен ей это предложить!»

Ночью, ворочаясь на неразложенном диване, – она никогда не раскладывала его, если спала одна, – размышляя о том, что Ленка в их отношениях не что иное как «пятая колонна», она вдруг враз и навсегда успокоилась, потому что то ли поняла, то ли почувствовала: никогда им с Ленкой не жить. Бывали у нее, и не раз, минуты такого вот прозрения, когда выход, итог, наконец виделся четко, ясно, и тогда она поражала других тем, что подсказывала выход, а на самом деле она ничего не подсказывала – она будто возносилась и видела сверху, как будет и как надо.

Один раз в жизни она ничего не знала и не видела – когда уходил Федоров. А тут поняла: с Ленкой ей не жить. Какая она молодец, что, еще не зная этого, среагировала правильно. Пусть Алексей предложит дочери остаться с ним, что усилит позицию, Анне на это сказать будет нечего. Он предложит, Ленка откажется, а Алексей от ее отказа станет сильнее, это тот самый случай, когда теряя приобретаешь. Вика совсем успокоилась и подумала, что в общем все хорошо. Федорова это ее умение брать себя в руки всегда поражало, и умение логически мыслить – тоже. Он как-то ей сказал: «Знаешь, ты сама себе мужик». Она не обиделась, они были еще вместе, спросила: «Это что – плохо?» Он ответил загадочно: «Сам себе – это сам себе. Это не хорошо, не плохо, Феклуша... Это другое измерение...» Она не поняла его, туда-сюда повертела фразу и решила, что обидеть она во всяком случае не

может. Это скорее так: сам себе умный – без поводыря, сам себе сильный – без поддержки и так далее. Так она это толковала. Сама себе мужик... А когда Федоров ушел – пришло другое. Он уже тогда обрекал ее, на одиночество, потому что считал: она это вынесет. Такая смешная штука. У него был этот нелепый набор имен: Устинья, Феклиста, Аглаида, Эсфирь, Виолетта, всех не перечислить, а тут, в конце их совместной жизни, он стал ее называть то Эдуардом, то Поликарпом. Она смеялась, а он нет... Господи, спасибо Алексею за то, что он другой, за то, что он есть, за то, что у них все хорошо, и за то, что он уведет ее из этой квартиры, в которой живет дух Федорова. Интересно, почему ей никогда, никогда не приходила мысль поменять квартиру? Она задавила в себе рождающиеся мысли на эту тему. Не хочет она об этом думать, не хочет! Не поменяла – не поменяла. Теперь съедет, и все. Съедет отдуха Федорова. Собственно, почему она должна с кем-то там считаться, если с ней никто никогда не считался?

Ленка стояла в коридоре, широко расставив ноги и заложив за пояс джинсов руки. Вся ее фигура под «мальчика-ковбоя у салуна» излучала не то что презрение – нечеловеческое омерзение. Алексей Николаевич споткнулся об это омерзение, как о камень, готов был повернуть назад, но рванулся вперед, прошел сквозь омерзение и услышал вслед «ну и ну».

Он быстро закрыл дверь в кабинете. И, еще держась за ручку двери, подумал: что это я? В собственном доме собственной дочери боюсь? И он открыл дверь. Так как

сделал он это неожиданно, то застал – успел увидеть на лице у дочери совсем другое выражение – испуганное и жалкое. Не успела она превратиться в американского мальчика у салуна, проклянувшись в ней русская девочка, у которой в семье плохое, и предстоит ей жить в этой плохой семье не день, не два – может, все оставшееся детство. И то, что у нее могло быть такое выражение лица – лицо несчастного человека, и не было оно далеко спрятано, стоило только закрыть-открыть дверь, – потрясло его. Ничего подобного не подозревал он в своей дочери, которая раздражала его все последние годы, а тут вдруг

лицо той девочки, которая должна была вырасти из замкнутой в байковую пеленку куколки. Запеленутой туго, его собственными руками. Он смотрел на нее и видел спектакль, который можно было бы назвать так: «Обратное превращение лица». Он видел, как старательно прятала от его глаз Ленка свою беду и растерянность, как облачалась она в наглость и разухабистость.

– Не надо, – сказал он ей.

– Это ты мне? – спросила она. – О чем изволите?

– Девочка моя! – Алексей Николаевич даже прикрыл глаза, чтобы не видеть перевоплощение куколки в чудовище. – Девочка моя! – повторил он. – Не надо ссориться. Ни я не хочу этого, ни – я уверен – мама.

– Он хочет мира и дружбы! – Из кухни появилась Анна в мокром фартуке, надетом на старенький сарафан. Перепутались на ее полных плечах бретельки лифчика, и сарафана, и комбинации, и выглядело это неопрятно и непристойно.

– Борец за мир! – издевалась Анна. – Бенджамен Спок!

И то, что он на самом деле хотел мира, а она издевалась над этим, и то, что она завершила работу по формированию чудовища – на носках снова покачивался, заложив руки за пояс, мальчик-бой из салуна, и то, что бретельки – белая, синяя и розовая – перекрутились друг с другом, – все взорвалось вместе похабным бранным выражением, которое Алексей Николаевич не произносил с тех самых пор, как мальчишкой понял его значение.

Но, начав говорить, он тут же сглотнул слова, потому что нельзя так при Ленке, и эта полупроизнесенная, наполовину сжеванная и проглоченная брань повисла в воздухе и висела тяжело и недвижно.

И они стояли, закаменев, а потом Ленка рванулась с места и хлопнула входной дверью. Анна посмотрела на него победоносно; будто выиграла раунд. Играли – бились, и она победила.

– Это самый легкий способ решать вопросы, – сказал Алексей Николаевич, – хлопнуть дверью.

– Ах, тебе надо решать вопросы сложно! – засмеялась Анна. – Ты, может, хочешь предложить ей съехать?

– Ну почему ты так все воспринимаешь? – застонал Алексей Николаевич. – Я предлагаю тебе прекрасную квартиру, а Ленка Может остаться со мной, если хочет...

Круглые глаза Анны округлились до нечеловеческих размеров.

– Господи! – сказала она и села. – Ты что – ненормальный? Ты предлагаешь жить ей вместе с твоей б...? Знаешь, такого еще никто не придумывал... – Она на самом деле была потрясена и смотрела на него даже несколько испуганно.

Дважды за десять минут в их доме прозвучала непристойная брань, а когда-то они бросали штрафные копейки в бутылку за каждого «дурака» и «дуру».

И Алексей Николаевич это отметил про себя и решил, что будет держать себя в руках, что пусть Анна распускается, он же – все! Сорвался один-единственный раз.

– Аня! – сказал он ей мягко. – Ну что – мы первые? Мы хорошо жили...

– Да что, я тебя держу? – закричала она. – Держу? Да ради Бога, хоть сейчас. Собрать чемодан? Собрать? Уходи!

– Ты глубоко права! – продолжал он миролюбиво. – И я бы не смел поступить иначе, как ты мне предлагаешь, не будь у меня очень хорошего для тебя варианта. Ты Должна понять... Квартиру-то давали мне...

– Это квартира дочери. А там, где она, – там и я. Понятно я объясняю? Никуда мы отсюда не уедем.

– Великолепная квартира... Рядом Сокольники...

– Тоже мне Елисейские поля, – засмеялась Анна и спросила: – Так собрать чемоданчик? Могу и два...

С той минуты, как Алексей Николаевич подавился матерщиной, а Ленка хлопнула дверью, с той минуты, как Алексей Николаевич стал говорить приторно-медовым голосом, Анна поняла, что он не уедет из этой квартиры. Так как и она не уедет, то выход у них один – в конце концов остаться вместе. Она почувствовала, что так все и будет, будет изнурительная склока, вражда, ненависть, и надо будет все это вынести и пройти назад всю искромсанную и истерзанную дорогу к тому самому состоянию, в котором они были в день скандала из-за

проклятых полов. (Интересно, как было бы, согласишься она перестилать пол паркетом?)

Поэтому надо, чтоб никто ничего про их отношения не знал, надо предупредить Ленку, и зря она сама ходила в райком, хоть никаких «следов» она там не оставила – все равно зря. Надо пойти к этой инструкторше, сказать, что они с мужем разберутся сами.

«А что если на самом деле забрать чемодан и уйти? – подумал в этот самый момент Алексей Николаевич. – И снять где-то комнату, да и квартиру можно».

Какой-то леденящий ужас охватил его при этой мысли. Вспомнились «семь квадратов», в которых он жил до двадцати лет, коридор с велосипедами, корытами, сундуками, специфический, ничем не перебиваемый запах коммунальной кухни, туалет с сиденьями на гвоздях. У них каждая семья имела свое «персональное» сиденье. Гостям говорили: «Наше – слева», или «Наше самое круглое». Все это казалось нормальным. В мыслях не было видеть в этом что-то ужасное, и ни у кого никаких комплексов неполноценности по этому поводу не развивалось.

Все они были вполне полноценные. Полноценные нищие. А вот представил себе ситуацию, что он может вернуться куда-то в коммуналку или даже в хорошие условия, но квартирантом, – и он почувствовал ужас. Можно даже повторить – леденящий ужас. Вот, правда, Федоров ушел, вернее, не ушел – уехал. И уже снова построил квартиру. Ловкачи эти фотографии. Они в темноте не снимки печатают – деньги. Ну и Бог с ними, никогда он чужих денег не считал, считать не будет, но и уйти так просто с чемоданом не уйдет. И к Вике не переедет, прав приятель – это стать примаком. Он уже старый для таких экспериментов, и у него есть квартира. Им полученная, им выстраданная.

Как он бегал тогда за справками, быстрее любой машины. Он чувствовал тогда в себе мотор, который давал ему и скорость, и силу, и уверенность. Он хотел эту квартиру и получил. В конце концов ничего у него больше не было в жизни, за что пришлось бы ему так побороться. Все приходило естественно и нормально. По конкурсу прошел в полиграфический институт. Облюбовал в пединституте на вечере девушку, и она вышла за него замуж. Получил назначение в издательство и медленно, но верно стал расти по службе. От девяноста

(девятью раньше) до двухсот пятидесяти. За квартиру же он дрался. Как он тогда бегал, искал стариков, которые могли бы подтвердить, что мать его строила метрополитен. Нашел-таки! А Анна говорит – уходи. Это ж какую надо совесть иметь – предложить ему такое!

Через несколько дней с невероятным грохотом поднялась к нему в клетушку Ленка. Вид у нее был, по его определению, «нагловатый». Все на ней как-то висело, телепалось, лицо у нее было жесткое, холодное, и Алексей Николаевич приготовился к самому худшему, ну например: «Твои вещи внизу – у проходной, заberi, пока не утащили».

– Я уговорю мать переехать, – сказала она каким-то отвратительно чужим голосом. – Но у меня условие...

Он слепо смотрел на нее, а мозги его – тяжелые, застывшие, как ореховые зерна – не могли переработать такую простенькую и легкую информацию: Ленка его спасает. Ржаво и вяло поворачиваясь в очугуневшей голове, мозги выдавили не мысль, а эмоцию (дело ли это мозга вообще?): «Что ж, дочь мать предает?» Но он спохватился и вслух спросил по существу:

– Какое же?

– Простое, – ответила Ленка. – Ты покупаешь мне машину.

– На что? На какие деньги? – закричал Алексей Николаевич.

– А это меня не касается, – сказала Ленка и встала. – Если у меня будет машина, я уговорю мать, и мы съедем. В твои вонючие Сокольники.

– Были бы у меня деньги, я вступил бы в кооператив, и разговоров бы не было. Ты-то знаешь мои доходы?

– Я не буду с тобой это обсуждать, – сказала Ленка. – Мне нужна машина...

– Зачем? – закричал Алексей Николаевич. – С каких пор у тебя эта идея?

– Слушай, – сказала она. – Ты хочешь остаться в квартире? Мать готова стоять насмерть, а я тебе предлагаю выход.

И она ушла, грохоча по лестнице.

Мысль о том, что это какой-никакой выход, так и не пришла ему в голову – на что он купит машину? У него на сберкнижке пять рублей, все, что осталось после переезда, ремонта, похорон. А было три тысячи. Еще от бабушки. Она когда-то завела на него книжку и складывала на нее по мелочи. Как все потом пригодилось! Нет, об этом

– чтоб обсуждать Ленкино предложение – не думалось. Всего его раздрыжила сама Ленка этим своим желанием иметь машину. Он видел в этом вызов ему, Вике. Ну вроде как: у тебя любовница, а у меня машина.

Это глупо, конечно, но таким казалось движение Ленкиной мысли, и он считал себя виноватым. Два последних года только ссорился, трандел что-то там о классической литературе, о Чехове особенно, потому что воображал себя Гуровым, а Вику – дамой с собачкой? И вот чем все обернулось – предательством матери, какая там Анна ни есть, она мать, и ей в голову не придет, что Ленка готова вступить с ним в сделку против нее.

Так вот, сбивчиво, больше о предательстве, чем о машине, он все и рассказал Вике.

– Ну что ж, – сказала она, закусив губу, – это несколько неожиданно, но это можно обсуждать.

– Как? – закричал он. – Что тут можно обсуждать? Девчонка, соплюха! Ты бы видела ее! Машину ей захотелось! А деньги? Она об этом подумала? Что я – пойду воровать?

– Большие деньги, – вздохнула Вика. – И все-таки, все-таки... Леша! Это выход! У меня немножко есть, возьмем займы... Подумай, деньгами мы купим покой и решение вопроса. Да ничего за это не жалко, поверь мне!

– Да я же не об этом! – закричал Алексей Николаевич. – Я же о девчонке!

– А что девчонка? – улыбнулась Вика. – Все равно скоро она от вас уйдет. Так пусть уйдет сильной, с машиной. Это, знаешь, как ей придаст уверенности. Совсем другая вырабатывается психология.

– Это-то и страшно, – сказал Алексей Николаевич.

– Ничего страшного, каждое поколение утверждается по-своему. Они будут ездить с матерью по магазинам, будут презирать всех пешеходящих и перестанут к тебе цепляться. А мы выплатим долг. И очень скоро. Я умею отдавать долги.

«Она не хочет со мной говорить о том, что Ленка поступает отвратительно, чтобы меня не огорчать, – думал Алексей Николаевич. – Мне же не все равно, какая она уйдет от меня. Она и так ужасная, но не думал, что это все, конец, точка. А этот ее приход –

конец и точка. И предательство матери, и нежелание считаться с возможностями, и просто цинизм...»

Он не мог уйти от этих мыслей, а тут еще это треклятое воспоминание о лице Ленки тогда, в коридоре, когда он неожиданно открыл дверь. Значит, не вся вышла девочка, девчонка, значит, было в ней что-то хорошее, родное, из того времени, когда он водил ее за ручку и она требовала:

«...Познай, почему рыбы не летают, а птицы не плавают. Познай!», «...Познай, почему глаза – два, уха – два, а нос один и рот один».

«Познай! Познай!..»

«Будут ездить по магазинам на машине и презирать пешеходящих». Неужели так все просто и так утверждается их поколение? Но что значит – просто? Денег у него нет? Хочет денег... Тугриков... А были бы? Что он перестал бы тогда думать о Ленке? О том, как она вошла и сказала: «Есть условие...» Миллионом рублей не замуровать ему это видение. Миллиардом...

Мысль обратиться к Федорову пришла Вике сразу. К кому же еще? Она ждала у перехода, испытывая неприятное чувство от того, что она стоит, а он приедет на своей машине. Раньше ей было приятно ждать его, а потом нырять внутрь и хлопать осторожненько дверцей, и снимать с чехла несуществующие пылинки...

Ленка – не дура. Ив общем, она права. Так и надо – уметь в крушении не растеряться. Она не растерялась, она ухватывает то, что может и на что имеет право. Зря Алексей городит вокруг этого черт знает что... Это действительно выход, материально тяжелый для них, но не смертельный. У нее есть на книжке две тысячи. Надо будет продать хрустальный штоф с двенадцатью рюмками. По нынешним ценам это еще столько же... Три тысячи она попросит – Федорова, вон он едет, своей излюбленной вихляющей манерой. Никто так не ездит, только он, и ни одного случая неприятностей с милицией. Вихляет аккуратненько и осторожненько.

Федоров распахнул дверцу, и она нырнула внутрь и сразу ощутила, что машина чужая. Пахло какими-то странными духами, не французскими, не арабскими, примитивными, но с каким-то таким оттенком, что она бы купила. «Не буду спрашивать какие», – решила Вика.

– Куда поедите, Манефа? – спросил Федоров. – Что у тебя стряслось?

– Никуда не поедем, – ответила Вика. – Если можешь, постоим и поговорим.

Он отъехал от перехода, встал за газетным киоском и повернулся к ней. Каждый раз, когда он к ней так поворачивался, она думала: какой он потрясающе некрасивый с этим носом шляпочкой и как этот его нос его никогда не портит. И сейчас она подумала об этом же. Некрасивый, а ничего его не портит. И непроизвольно вздохнула, что так думает до сих пор. Надо же иначе! Вот урод так урод, что за нос, что за рот, и откуда такое чудовище?

– Как твои дела? – спросила она.

– Дела? – переспросил он. – А какими им быть? Украшаю землю картоном... Ты меня прости, Сулико, но у меня со временем туго... Так что давай решающую мизансцену...

– Я так не могу, – сказала Вика. – Я хочу знать, что у тебя и как, чтоб обращаться к тебе с серьезным разговором...

– Ой, – засмеялся Федоров. – Ой! Ну считай, что ты сделала анестезию и я уже все восприму... Что случилось?

– У меня все в порядке, – ответила Вика. – Собираюсь замуж за Алексея... Ты его знаешь...

– Осторожненький и вежливый господинчик... Нижняя часть лица у него бабья...

– Ты же никогда не был сволочью, – сказала Вика, – зачем же ты так?

– Господи, Адель! – воскликнул Федоров. – Ты о чем? Я ж о внешнем образе... Я ничего против него не имею... Порядочный мужик... Рад за тебя!

– Мне для счастья нужны деньги, – засмеялась Вика.

Федоров полез в бумажник. Так все просто и так на него похоже. Надо – ради Бога!

– Сколько тебе надо для счастья? – спросил он.

– Три тысячи, – ответила Вика.

Он спрятал бумажник и почти серьезно – что для него редкость – посмотрел на Вику.

– Извини, – сказал он. – Такая сумма мне не по зубам.

– Ну, конечно! – возмутилась Вика. – Всю жизнь я брала у тебя по мелочи... А тут... Где уж сообразить?..

Она вдруг почувствовала, что готова, способна, хочет, жаждет наговорить ему кучу гадостей, начиная с того, чем это у него в машине пахнет? Пачулями какими-то... И кончая тем, что сам-то он может себе позволить и два кооператива, и машину... Вовремя сообразила, что в одном из этих кооперативов сама живет и знает ведь, как ему достаются деньги за работу, которую он называет «украшаю землю картоном». Она поперхнулась, а Федоров – нос шляпочкой – сделал вид, что ничего такого, что она могла ему сказать, и не ожидал. Просто нужны бабе деньги, она и психует.

– Не могу, – сказал он. – Моя скоро рожает. И у нее не все в порядке. Уже три месяца держу ее в больнице, и мне это стоит... И я готов все это умножить в десять раз, лишь бы у нее все окончилось благополучно.

Вика больше ничего не слышала. Если был способ перебросить ее из одной температуры в другую, то это можно было сделать одной фразой: «Моя рожает». Его рожает...

Шевелились федоровские губы, складываясь в странные слова «гемоглобин», «токсикоз», «эклампсия», импортные слова, дорогие, но ему никакой цены за них не жалко, только б чтоб их не было.

– Ну и хорошо! – резко сказала Вика. – На нет и суда нет. Поищем в другом месте. – Она прямо выпорхнула из чужой машины как из своей, и пошла, покачивая сумочкой, делая ему торопливое «до свидания» ручкой. Торопится женщина, вся жизнь у нее такая, прости, мужчина, что не дослушала про твои беременные дела!

Смотрел ей Федоров вслед, положив подбородок на руль, и думал о том, что когда-то он любил эту женщину. Это чепуха, когда говорят, что любить можно один раз. Сколько угодно! Просто каждый раз это совсем другая любовь, и может статься, что той, которая нужна тебе, чтоб уже с ней и умереть, у тебя никогда не будет. Любил он Вику, хотел ее, строил с ней дом на всю жизнь, пока однажды вдруг не почувствовал, что ни одним вколоченным гвоздем он не прибит. Бил,

старался, вгонял по самую шляпку, а выйти может без единой царапины.

Он все ей тогда оставил, потому что чувствовал себя виноватым за эту свою непоцарапанность. Он ведь видел, что у нее не так, что она то пробита насквозь... Странная она женщина, Вика... Потом он нашел ей определение – сформированная. Но это потом, когда он уже встретил свою Соньку. Ни разу не назвал он ее ни Дуней, ни Манефой, ни Сулико... Он знал, что Вика однажды специально приходила на нее смотреть в ее математический институт. Он... вообразил себя Викой и ее глазами увидел Соньку. Вика должна была быть потрясенной. Сонька страшна по всем нынешним гостовским нормам. Никаких там особенных ног или рук. Никаких струящихся по спине волос, никакой сгруппированное™ в бедрах. Весь вид ее по принципу: какая есть, такая есть.

Никогда раньше не было у него некрасивых женщин. Мимо просто обыкновенных он проходил. Сказал бы ему кто, что женщина, лодыжку которой он сможет обхватить двумя пальцами, станет для него всем. Что он будет плакать, заворачивая и одевая ее в разные почти детские вещи, что он запродастся отвратительной халтуре, чтобы ей только сделали очки, какие ей надо. Подчеркиваю: не оправу, а именно очки-линзы. Когда она сидит с ногами в кресле и держит перед самым носом книжку, наматывая на палец любую нитку, которую можно откуда-нибудь выдернуть, у него плавится сердце. Никогда не было этого раньше, никогда не бухало куда-то там в печенку превращенное в горячие капли его мускулистое, четырехкамерное сердце. Вика разве в чём виновата? Может, у ее будущего мужа от нее тоже плавится сердце?.. Он хотел бы этого... Он хочет для нее самого лучшего, потому что потому... Федоров вздохнул. А вот денег у него нет. Таких, как она просит, во всяком случае. Надо ему спасти Соньку, нет у него другого в жизни предназначения. Это с другими женщинами был у него другой интерес, эту надо спасти. С той минуты, как он ее увидел, услышал ее спотыкающуюся на согласных речь – она из Западной Украины и говорит с каким-то невообразимым акцентом – украинско-молдавским, – так вот с той минуты, как он ее увидел и услышал, он готов зависнуть над ней, чтоб защищать от всех и вся. С Викой он строил дом, возводил его, украшал его, а Сонька делает ему дом там,

где в эту секунду находится... В купе ему с ней дом, в машине дом. В метро дом. «Ах, какой я слюнявый! – подумал о себе Федоров. – А мне ведь надо доставать сырую телячью печенку, а где ее достанешь о сю пору? Где находится этот лох теленок, у которого я смогу склевать печень для Соньки?»

Он остановил машину возле автомата и стал звонить подруге Соньки из института, которая обещала смотаться в свой библиотечный день в деревню к родителям и пошуровать там насчет сырой печени. В институте ему просто прокричали в трубку: она поехала, поехала! Растроганный до нечеловеческой мягкости Федоров вернулся в машину и полез за сигаретами. Вместе с пачкой вынул бумажник: близко он его положил, когда хотел дать Вике, ну, полета, не больше, взял бумажник, раскрыл и сквозь целлулоидное окошко на него посмотрела очаровательно глазастая женщина, с короткой стрижкой, большим, иронически улыбающимся ртом, ну абсолютная некрасавица, но лучше которой природа ничего не сочинила. Это была точка зрения Федорова. Он на ней не настаивал, потому что был по сути своей плюралистом и допускал существование других точек зрения. «Лапочка ты моя! – подумал он вслух.– Солнышко мое! Господи! Пошли мне все ее хворобы и неприятности!» Так он молился уже три месяца, молился всюду и постоянно. «Господи! Что мне сделать, чтоб она была здорова?»

Он никогда не думал о ребенке, которого в принципе хотел, он не позволял себе о нем думать, потому что готов был без размышления пожертвовать им ради Соньки. Как же можно в такой ситуации думать о нем? Кайши мыслями?

"Вика завернула за угол и позволила себе согнуться в три погибели. Так согнувшись, будто от резкой боли в животе, она постояла, и уже какая-то женщина из тех теперь редких, которые бросаются на помощь, переложив сумки из рук в руки, ринулась к ней, но Вика улыбнулась, кивком поблагодарила за порыв и, выпрямившись, пошла дальше. «Она рожает...» Эта новость ее согнула.

Не потому, что так уж она хотела ребенка, а он у нее не завязывался по причине какой-то там патологии. Она была не из тех женщин, которые при виде младенца распускают слюни и превращаются в идиоток. Нет! Но когда Федоров ушел и она безжалостно и без анестезии устроила ревизию всей их жизни и не нашла причины, по которой так вот враз нужно было собрать чемодан и убежать от нее на частную квартиру, она не думала тогда о ребенке. Вот, мол, был бы... Не говорили они об этом с Федоровым, нет его и нет, даже лучше, что нет, потому что многое другое надо... И не сказала она Федорову, что была у гинеколога, и тот ей прописал процедуры, и она принимала их, но это было ее дело, в которое она не считала нужным вводить мужа. Потом их надо было делать повторно, но она уже не пошла, потому что как раз тогда они что-то затеяли в квартире и что-то с Чем-то не совпадало по времени. И теперь вот в согнутом состоянии Вика выдавила мысль: Федорову нужен был ребенок! Хоть от кого, даже от этой его красотки, на которую она ходила смотреть специально. Вика хотела быть объективной и искала, что

там запрятано в ней, но увы... Невзрачная женщина с печатью кандидатской степени... Ум, интеллект, ирония, сатира – это все, будем считать, есть. Ничего глазки, хоть их за очками не видно... Но в целом... Что ни надень, вида никакого... Она успокаивала себя тогда этим, городила всякую чепуху, что не может это не иметь значения для Федорова, который до своего картона был все-таки приличным фотокором... Значит, должен принимать красоту, видеть ее во всяком случае...

Думая о той женщине, она не могла не думать о себе, сравнивала, находила себя лучше. Не в кандидатской же степени дело. Федоров, наоборот, всю жизнь проповедовал идею, что женщину образование только испортило. И то, что она не могла понять, а понять хотела, оказалось, горше самого фактам что Федоров ушел. А теперь вот разъяснилось – ребенок. Почему же он ей ничего не говорил? Почему они обходили эту тему, и она была ему даже благодарна, а когда ходила к врачу, то думала, что, может, это и не нужно, а на всякий случай пусть лучше полечат... Потом же выяснилось, что хорошо, что она не долечилась, – это когда у них началось с Алексеем. Будто жизнь специально приспособила ее патологию к такого рода ситуациям. «Я

рожу от него! – решила Вика. – В конце концов мне всего тридцать семь... Я рожу назло Федорову».

Бывает так, что человек, думая об одном, на самом деле думает о другом? Правильные мысли, в хорошие слова облаченные, выстукивает телетайп мозгового центра, а под всем этим другое – разное – без слов, без знаков препинания, нечто бесформенно-иррациональное. Ленка... Ленка... Ленка... Порядочные мужики от детей не уходят... Женщина рождает, и все... А мужику надо не им рожденное полюбить... Это им важно. Та еще только беременная, а он сколько слов выучил... Детей не разлюбляют... Это другая любовь... Вот скажет ему Ленка какие-нибудь слова...

Вика поняла, что Ленка – главная ее опасность и что надо что-то делать, делать... Господи! Какая это малость – покупка машины! Надо доставать деньги, надо!

Анна пошла в райком предупредить инструктора, чтобы та – ничего... Если в том предыдущем походе свою позицию она считала праведной и неуязвимой, то сейчас ей было ясно: она может произвести впечатление истерички, а это ей ни к чему. Поэтому Анна собрала все силы на то, чтобы выглядеть спокойно и достойно, а потом так получилось, что, настраивая себя на правильный вид, она придумала себе и внутреннее состояние, по которому ее явление в райком будет выглядеть естественным, а может, даже и благородным. Она придумала болезнь мужа, которая заставляет ее все если не прекратить, то приостановить свои претензии. Есть вещи, когда личные обиды и тэ дэ и тэ пэ...

Она столкнулась с инструктором в коридоре, та бежала куда-то по своим делам, но Анну заметила раньше, чем Анна ее. Видела, как осторожно ступает та по ковровой дорожке, будто боится упасть. Она не знала, что Анна всегда по дорожкам ходит осторожно: когда-то в доме отдыха она сломала ногу на дорожке, которую положили прямо на хорошо натертый паркет, а она бежала, ну и навернулась – будь здоров!..

Эта осторожность, бережность, с которой Анна шла, вызвали у инструктора раздражение, потому что то состояние обреченности, с которым она вышла на работу, не только у нее не прошло, но и усилилось. Живые, здоровые люди, которые шли и шли к ней, являли собой то будущее, в котором она себя не видела. Она уже не могла не сверять все их требования, просьбы, жалобы, всю свою собственную беготню с бумажками вот с этой самой «жизнью-смертью», которая в нее проникла. Как объяснить людям, что все чепуха по сравнению с тем, что ты можешь уйти враз навсегда?

Но она не имела права так говорить с людьми, она должна была проникаться их глупостями, и вот одна из этих глупостей вышагивает сейчас по дорожке и будет сейчас что-то плести ей про мужа. Да пусть он катится на все четыре стороны! Да уйди сама, наконец, ты же здоровая!

– Я к вам на минуточку, – сказала Анна. – Даже не надо в кабинет. Помните, я к вам приходила? Так вот, считайте, что этого не было...

– Мир, лад и Божьи одуванчики? – зло спросила инструктор, потому что еще не успела перестроиться на другую ноту, очень уж неприятна была ей Анна, казалась ей и хитрой, и лживой, а главное, здоровья в ней было на тысячу порядочный людей, самой же Анне она в порядочности отказала напрочь: порядочные по райкомам с семейными делами не ходят.

Одуванчики Анну обидели. Что это за странный вопрос?

– Он болен, – сказала она сухо. – Извините. – И она осторожно пошла назад, обижаясь все пуще: дошли до нее все отрицательные эмоции инструктора, и она почувствовала, что союзников у нее тут нет, что она тут не понравилась, значит, приходила зря. А может, все не так? Знают, например, тут историю Алексея и все на его стороне? Ничего себе стали порядочки! Рука руку моет.

Инструктор вошла в кабинет, села за стол и набрала номер издательства.

– Болен? – засмеялся секретарь парткома. – Да только что у меня был и сказал, что из пятьдесят второго размера переходит в пятьдесят четвертый. Я его журил, а он мне резонно отвечал, что много ест хлеба и не может без него... Знаешь, я сам не могу... Ну как можно суп без хлеба? А?

– О супе мы потом, – сказала инструктор. – Значит, здоров, ну и слава Богу.

– Лучше быть богатым, но здоровым, – прокричал секретарь в трубку, но в райкоме его уже не слышали. Инструктор не воспринимала эту поговорку. Она относилась ко второй ее части, она была бедной болью, и только полный кретин мог ей это напомнить.

У Алексея Николаевича все валилось из рук. Это верно, он был в парткоме по поводу новых немецких машин и зашел у них разговор о весе, машины так поставили, что между ними только мальчишкам бегать, а не солидным начальникам, и секретарь спросил, а не пробовал ли он есть проросшую пшеницу, говорят, убивает аппетит, а витаминов в ней тьма-тьмуша. Алексей Николаевич ответил ему, что все эти новомодные диеты ему противны, он лично любит хороший наваристый мясной суп, можно и с крупкой, только чуть-чуть, и обязательно с мягким хлебом. Целый батон может съесть. – А сердце не жмет? – спросил секретарь.

– Из пятьдесят второго перехожу в пятьдесят четвертый, – засмеялся Алексей Николаевич. – Зажмет тут! И не станет же он вкраплять в серьезный разговор о производстве или даже в несерьезный о супе свою тревогу о Ленке, об этом ее идиотском условии. Зачем девчонке машина? Ну, ладно, они – такие. Мы их сами разбаловали. Но знать же надо, что у отца никаких приусадебных участков со свежей клубникой нет. Что они с матерью сидят на своих честных зарплатах. Что они недавно ремонт делали в новой квартире. Что ей же недавно была куплена дубленка за четыреста рублей, мать отдала все свои отпускные и просидела все лето дома. Размышляя о Ленке, он ощущал себя в одном лагере с Анной и жалел Анну за этот пропущенный отпуск, хотя столько она наготовила тогда впрок, и варений, и солений, и маринадов. А дочь – предательница и это ужасно, хоть и получается, что именно так она становится его союзницей.

Весь день он был сам не свой, а вечером Вика потащила его в кино. Известный французский комик корчил рожи, верещал голосом какого-то советского артиста, все было глупо, бездарно и настолько поперек состоянию души Алексея Николаевича, что где-то в середине он не выдержал и предложил Вике уйти. Он увидел испуг в ее глазах и мгновенную готовность сделать так, как он хочет, и, уже пробираясь сквозь колени и смех, он понял, что так вот, не высидев до конца, он поступает первый раз в жизни.

Он был воспитан – выхлебывать еду до донышка, кино смотреть до конца, книгу дочитывать до последней страницы. Анна иногда говорила: «Брось! Это же невозможно читать!» Да, невозможно, он уже это понял, но читал, потому что начал... А сейчас вот первый раз в жизни он уходит из кинотеатра, да еще с комедии, уходит, потому что еще минута – его бы вытошнило. Пришлось бы объясняться, что не пьяный и не

больной, а такое у него сейчас состояние, что не понимает он, как можно смеяться, если кого-то рожей в суп... Что к нему вообще привязался сегодня суп? Судный день, что ли? Нет, судных дней не бывает. Бывает рыбный день и судный день. «Ничего себе параллелечка», – подумал Алексей Николаевич и хотел сказать об этом Вике, но она была так сосредоточена и так бережно держала его под руку, что не сказал он ей про судный день.

У себя дома она окружила его тем нечеловеческим вниманием, которое сегодня тоже было ему противопоказано, как и комедия. Вика напоила его чаем со слоеными пирожками, уложила на диван, пришла в невообразимом пеньюаре – сплошные красные кружева, легла ему на грудь, вся такая обворожительная и пахнувшая – он теперь уже разбирался – самыми дорогими французскими духами.

Странная это была любовь. Он все делал, как надо, но ничего не чувствовал. Он смотрел на их общее умение со стороны и вроде бы даже завидовал этому мужчине, который так ловко умеет обращаться с женщиной.

Вика сказала ему: «Ты сегодня гениален», – а он усмехнулся, думал о том, что быть «гениальным мужиком» значит просто отключить сердце. Не больше.

Ничто из души не ушло вместе с физическим облегчением, наоборот, пришла даже странная мысль о том, что человек настолько

двойственен, что две его части временами просто могут не знать друг друга.

Он был благодарен Вике за все ее старания, он любил ее в этот вечер так нежно и ласково, что она – осторожная ведь женщина – сказала:

– Слушай, оставайся у меня. В конце концов мы ведь уже играем в открытую.

Но он так стремительно вскочил и так суетливо стал завязывать галстук, что у Вики выступили на глазах слезы. И тогда он сел и обнял ее, краснокружевную, и стал успокаивать, потому что кого ж ему в жизни успокаивать еще? Кто у него еще остался?

А когда он приехал домой и лег под свои палаши и сабли, тошнота, которая никак не отпускала, отошла. Отпустила. И хоть гремела в кухне кастрюлями противная ему женщина, а из комнаты Ленки раздавались чу-

довищные вопли этой несуразной диско-музыки, ему именно тут было тихо, покойно. Только тут он мог жить. Может, действительно стоит собрать деньги для Ленки, чтоб решить этот вопрос? Чего он так сегодня всполошился. Как им хорошо будет здесь с Викой. Как она его любит, как все делает для него, это же счастье. И другого у него уже не будет. Он твердо решил подумать, у кого взять деньги, нельзя всю эту историю целиком и полностью перекладывать на плечи Вики.

Он не знал...

Он не знал, что, пока его тошнило от вида французского комика, у Анны с Ленкой произошел разговор.

– Я думаю, – сказала Анна, – зря я так резко говорила с отцом. Да еще при тебе... Я прошу тебя: Не веди себя так, будто он тебе чужой. Есть у меня ощущение, что все обойдется...

– И ты все это проглотишь? – закричала Ленка. – Всю эту историю?

– Какая там история! – небрежно ответила Анна. – У всех у них когда-то такое случается... Перемолчим, доча, перетерпим...

– Ты сошла с ума! Да разве можно такое перетерпеть? Ты что? – Ленка вскочила и, размахивая руками, поведала: они давно являют собой уродливое соединение. Оба в чем попало дома. Ничего не стесняются. Если это – семья, то ей – лично – никогда такой семьи не надо.

– Мы же хорошо жили, – растерянно сказала Анна.

– Хорошо? – Ленка просто вопила. – Вы – не семья, не люди... Вы ячейка чего-то там... Союз людей, вместе сжирающих пуды картошки, а в промежутках рожающих ребенка.

Анна Антоновна так испугалась, что закрыла лицо руками. А оскаленная Ленка шла на мать, как танк.

– Не прячься! Не прячься! – била она прямо по спрятанному лицу. – Ваше поколение все такое. Живете вместе, потому что две зарплаты больше, чем одна, потому что на одного не дают квартиру, потому что удобней иметь под боком противоположный пол. Да, да, да! И не говори, что жили хорошо. Всегда, всегда – деньги, деньги. Квартира, квартира... Сидите нечесаные и считаете копейки. Не считаете – так спите.

Анна Антоновна вспомнила. Был такой случай. Они

только сюда приехали, провода от коммуналки еще висели по стекам. Они тогда сидели втроем – свекровь была еще жива, – считали, во сколько им все это обойдется. У; нее, у Анны, был в руках карандаш, и она им машинально почесывала голову.

– Что ты все чешешься? – спросила свекровь раздраженно. Анна тогда добродушно подумала: «Я ведь не раздражаюсь, когда она грызет ногти». И ответила весело, шутейно: – А я, граждане, еще сегодня не расчесывалась! Господи! Да что ж в этом такого? Они же весь день таскали барахло, машину им подали раньше времени на целый чай, и она ничего не успела. А потом перетаскали все и сели отдохнуть, а отдыхая, стали считать. Поэтому она так легко не рассердилась на свекровь, очень уж все было очевидно, несправедно с ее стороны.

И тогда эта соплюха Ленка закричала: «Поди сейчас же причешись!» Вот тут они все втроем дружно поставили ее на место. «Матери будешь делать замечания?», «Сама ни за холодную воду, портфельчик принесла, и все!», «Научись себе трусы стирать, а потом указывать будешь!» Ленка разревелась, сбила их со счета, и они все пошли спать. Анна же тогда пошла в ванную и долго причесывалась, и на расческе у нее осталось много волос, и она вздохнула, но тут же утешилась: главное – они получили квартиру, вот приведут ее в порядок и можно будет заняться собой; Какая тут громадная ванная комната, и она повесит здесь зеркало во весь рое.

Конечно, она забыла напрочь эту историю, а Ленка, оказывается, помнила.

– ...Такие семьи взрывать надо! Не сто же тебе лет! А для меня лично он давно не существует! Я его, конечно, люблю, как причину моего рождения...

– Это раньше называлось отцом, – тихо сказала Анна Антоновна, выбираясь из воспоминания.

– Ну, пусть, пусть! Отец, мать... Но если мне кто-то скажет, что меня создали, чтоб я тоже считала копейки, варила картошку, стирала белье, ходила на какую-то работу, где начальник – сволочь, коллеги – идиоты, а у всех одна и та же скука, то лучше вообще не жить! Я поставила ему условие – пусть он купит мне машину. Хоть что-то... И уедем отсюда. Я ненавижу эту квартиру... Вы растолстели в ней, как хрюшки.

А папин кабинет я бы вообще сожгла. Развесил по стенке орудия мужской доблести и лежит под ними, как дурак...

– Елена! – закричала Анна Антоновна. Ей хотелось сейчас, чтоб Ленка куда-то ушла. Она ничего не может сказать ей сразу, как не могла бы, наверное, с ходу ответить иностранцу... Что-то бы смогла, но главные, правильные слова все равно надо было бы искать в словаре.

– ...Такое мое мнение, – закончила какую-то очередную фразу Ленка, ушла к себе в комнату и включила на полный звук магнитофон.

Анна Антоновна стала машинально мыть посуду, и только одна-единственная мысль сидела у нее в голове. И была она такой: Ленка ей не только не союзница, а врагиня. Как ей объяснишь, что отпусти, она, Анна, Алексея, то до гробовой доски быть ей одинокой. Не за кого в школе выходить замуж. Значит, одна, одна, одна... Это страшней страшного. А Алексея можно удержать, она это чувствует. Во-первых, он цепляется за квартиру, во-вторых, что бы там Ленка ни говорила, а возможность снять с себя постромки для современного загнанного человека вещь немаловажная. Это им, у которых все готовенькое, легко рассуждать о том, в чем человеку дома ходить. А человеку надо в рваные штаны влезть, в самую удобную рубаху, чтоб его отпустило... Она сама первым делом снимает с себя пояс с резинками, и шпильки из волос вытаскивает, и расстегивает верхнюю пуговичку лифчика. Это, может, и есть счастье – возможность расслабиться до последней

клеточки. Она, Анна, нутром, потрохами чувствует: такое расслабление у Алексея только здесь. И надо перетерпеть. Сказать ему, что никуда она отсюда не тронется, ни на какие обмены не согласится...

Она резко, решительно вытерла руки и пошла в комнату к дочери.

– Еще одно слово отцу про машину, еще одно оскорбление в наш адрес – и считай, что ты круглая сирота и у тебя никогда не было ни отца, ни матери... Или как ты там говоришь? Не было причин для твоего рождения.

То ли от неожиданности прихода матери, то ли Ленка все-таки была еще ребенком и ее этим можно было испугать, но она растерялась. Никогда она такой мать не видела – и ростом выше, и голосом гуще, а главное, мать защищала то, что на взгляд Ленки цены не имело. Но раз защищала, да еще так упорно, значит, было там что-то такое, что надо было защищать... Не ахти какая мысль, но в голову Ленки она пробилась.

...Если есть на свете место, где тебя примут любую – наглуго, глупую, беспардонную, то это твой дом. И надо быть полным, клиническим идиотом, чтоб его ломать. И ради чего? Ради машины! А я ведь думала, что ты не дура...

Анна Антоновна хлопнула дверью и ушла в кухню, Ленка осталась переваривать материны слова, и вот в этот самый момент вернулся домой Алексей Николаевич, лег под свои орудия мужской доблести, почувствовал наконец себя спокойно и решил, что это спокойствие стоит машины. Он стал думать о том, у кого взять деньги, еще не зная, что проблема эта уже перестала быть актуальной.

Утром он надел рубашку, выстиранную Анной, нашел в кармане свежий носовой платок, и чай ему подали, какой подавали обычно, крепко заваренный, в большой керамической кружке.

– Тут мне Ленка вчера, – сказал он чуть смущенно, – выдвинула одно условие...

– Я знаю, – ответила Анна. – Глупости все это. Где ты найдешь деньги на машину? Они же так подорожали... Она ляпнула и не подумала... Леша! – Анна говорила очень спокойно, даже ласково. – Не бери себе в голову всякие условия. Их нет. Если тебе немоготу е нами – уходи. Я же не держу тебя. Разве ты не понимаешь, что это просто честно уйти, и все?

– Это, наверное, не очень убедительно, – ответил Алексей Николаевич, – но мне, поверь, Анюта, нужны эти стены... Я к ним прирос.

– А если я тебе скажу, что они мне нужны тоже? Ты вспомни, какая это была квартира и сколько битого стекла я вогнула своими руками в щели – от крыс...

– Что ж, тебе крысы дороги? – неловко пошутил Алексей Николаевич.

– Ну, считай, что крысы... Алексей! Ты свободный человек и можешь уходить на все четыре стороны. Это же, – Анна развела руками, – не твое. Это и мое, и Ленкино, и Ленкиных будущих детей.

– То, что я тебе предлагаю, хорошо, – продолжал мирно Алексей Николаевич. – Квартира – конфетка...

– Чего ж ты сам? – Анна почти восхищалась собой, что так ловко и правильно ведет игру, и даже жалела его, дурачка, у которого так все открыто, подставлено, что хочешь с ним делай...

– Понимаешь... Это квартира ее мужа... Все его руками... Мне там тяжело.

Еще бы!

– А мне в квартире чужого мужа будет легко?

– А ты сделаешь ремонт!

– А ты? Почему ты не сделаешь ремонт? – Анна встала с чашками и смеялась, глядя на него, но не зло, а насмешливо, и он почувствовал себя побитым, потому что, как не анализируй ситуацию, а она, Анна, права тысячу раз, а он не прав... И это так очевидно, что даже сердиться на него нельзя, можно только посмеяться. И тогда он сказал то, что не должен был говорить:

– Ты забываешь, что квартиру давали мне и моей матери...

– С этого мы уже начинали, – ответила Анна. – Ты стареешь, глупеешь с этой женщиной, ты становишься посмешищем.

И она вышла из кухни. Он остался сидеть над чашкой. Болела, ныла спина, видно, неудобно он сидел, хотелось вернуться в кабинет и лечь, но надо было торопиться на работу, и в передней они столкнулись с Анной, натягивая плащи. Потом она переобувалась и машинально ухватила его руку, и он вдруг почувствовал острое раздражение против нее. Чуть не сказал: «Чего хватаешься?» – но сдержался и ощутил вчерашнюю тошноту.

– Как ты не понимаешь, что вместе мы уже не сможем! – сказал он ей.

– Уходи же, уходи! – ответила она, но было неясно, торопит ли она его на работу или отвечает на его слова весьма определенным ответом.

Было у Анны необъяснимое ощущение: еще чуть-чуть и вся эта история кончится. И она благодарила Бога, что ни с кем в школе о своих домашних делах не делилась. Намекнула подруге, учительнице черчения, что, мол, не принесла им квартира счастья, вроде бы хуже стали жить, на что та ответила, что в семейной жизни вообще нет понятия «хорошо», а есть понятие «терпимо», и что теперь, когда половина мужиков – пьющие, никто ее, Анну, не поймет, так как все знают: Алексей рюмку, две – не больше. И не бабник. «Не бабник же?» – строго переспросила подруга, глядя Анне прямо в глаза.

– Да Господь с тобой! – ответила Анна. И не солгала.

То, что у него с этой корректоршей, идет по другому ведомству. Его заарканили. Отличие женщин от мужчин, может, даже главное отличие, в том и состоит, что они арканятся с превеликим удовольствием. Эта женщина и сопротивляется, и комплексует, и убегает рысью, прытью, галопом, эти же идут прямо, на первое «Куть! Куть! Куть!»

Вот его позвали, он и пошел. И если бы у нас было принято, как в Европе, иметь параллельные связи и ей, и ему, то ничего бы не было вообще. Но мы же Россия! У нас всегда все остро, будь то общественная жизнь, будь личная. Все на пределе, все на нерве.

Анна пожалела – немного правда, ведь и ее бы это коснулось – о том времени, когда за такие вещи запросто могли выгнать из партии. Это, конечно, крайность, но что-то в ней было. Какая-то узда для безвольных и бесхарактерных, как Алексей. Теперь все не так. Она это поняла, когда сходила в райком: инструкторша ее возненавидела именно за то, что она пришла по такому поводу. Европейский стиль работы! Ну и пожалуйста! Она сама все сделает. И в первую очередь она покроет клеенкой – видела красивую такую в желто-синих квадратах, а каждый квадрат в коричневой двойной рампе, – так вот она оклеет такой клеенкой в кухне пол.

Пусть он видит, что она не собирается двигаться с места. И палас большой закажет на дощатые полы, той самой родительнице. И чем

лучше у них будет в квартире, тем труднее ему будет уйти. Он ведь прав. Он прирос к стенам. Интересно, а если бы это случилось, когда они жили в той, двухкомнатной квартире? Держался бы он за нее мертво? Но было странно вообразить себе, что такое могло быть там.

Во-первых, свекровь. У, какая у нее была свекровь! Из первых комсомолок. Она бы не чикалась, она бы все поставила на свои места сразу. Мысль же – хорошо бы, мол, оказаться сейчас в той двухкомнатной квартире, но без всех ее нынешних проблем – в мозгу почему-то не задержалась. И Анна заметила это и несколько удивилась, но тут же, разобравшись в этом странном на первый взгляд феномене, сделала вывод: Алексеева история преходяща, как бы она ни кончилась, а хорошая квартира вечна. Ну не вообще, конечно, вечна, а для одной хотя бы человеческой жизни. Хорошо, когда стены стоят, высокие, кирпичные, три двадцать высотой.

Уже когда подходила к школе, пронзительная, острая мысль пришла вдруг неожиданно: а если он все-таки уйдет? Она же сама ему все время долдонит: уходи, уходи! Надо будет с этим «уходи» поосторожнее.

А Вика нашла деньги. Лежа ночью без сна, она все вспоминала эту торопливость, с какой Алексей убежал, когда она предложила ему остаться. Ведь она же сейчас рискует большим: во-первых, о женщине всегда хуже говорят, во-вторых, срок кандидатский у нее кончается, мало ли какой фортель выбросит его корова? А он убежал... Когда у них все начиналось, она не думала ни о чем серьезном, так, связь, и все. Она после Федорова во все эти дела бросалась как в омут. А потом он таксе встретил в доме отдыха, ошалелый какой-то. Бормотал, что жить без нее не может, про какие-то «бурые самолеты» рассказывал и спрашивал: «Ну как я мог без тебя, как?»

Вот тогда у нее стали развязываться узлом завязанные после Федорова нервы. Она лежала на песке, плыла в море, стояла под душем, грызла яблоко, делала маникюр, пила вино и все говорила, говорила, говорила Федорову одни и те же слова: «Видишь? Видишь? Видишь, как я нужна... А ты думал ты один; взял и ушел? Ты посмотри на него, посмотри, красивый мужик, не то что ты... Нос шляпочкой...»

Он ее вылечил, Алексей. Спас от чувства неполноценности. И она тогда сказала себе: «Я сделаю для него все, чего он захочет».

Он захотел многого: «Выходи замуж». Это «многое» у нее было, и никто на это многое не покушался. Все ее разовые поклонники приходили, чирикали: «А у тебя, Витуся, клево! Молодец Федоров! Это его дизайн?» Алексей же стеснялся этого чертового дизайна, он не мог в нем долго находиться, не мог в нем жить, поэтому убегает от нее вечерами, не остается. И как бы не было ей горько, а ценит она в нем эту неспособность расположиться в чужом, как в своем. По нынешним временам это уже нечто рудиментарное, такая совестливость. Придя к мысли, что спасение их, как ни крути, а в деньгах на машину, она стала перебирать, к кому можно еще обратиться, и как не гнала она от себя вариант под названием «тетка», а пришлось-таки на нем остановиться.

...Старая семейная вражда разделила сестер во времени на двадцать лет. Матери Вики было тогда двадцать три, а тетке двадцать восемь, и был это сорок второй год. Должна была родиться Вика, а тетка строго судила за это сестру. Нашла время и час! И хоть бы некому было сделать аборт – было кому! В лучшей по тем временам клинике сделали бы будь здоров, с анестезией. Тетка говорила – так пересказывала Вике мать уже потом: «Как можно награждать – чувствуешь, какое слово? – воюющее государство лишним ртом?»

Мать молодец, сама родила и вырастила, отец в этом же сорок втором погиб, а сестре мать сказала: «Умирать буду голодной смертью – в дом твой не постучу». Мать умерла, когда Вике было двадцать один год и перед ней, испуганной и несчастной, набежавшая откуда-то родня поставила вопрос: «Неужели же не позовешь родную сестру покойницы?» – «Да зовите кого хотите», – закричала Вика. Но кто-то из старших взял ее за плечи, подвел к телефону и сказал: «Звони. Сама звони. Так по-людски». Тетка завопила с порога и рыдала настоящими слезами: такого количества слез Вика ни до, ни после не видела. Дважды возле гроба она теряла сознание и возле ее носа размахивали ваткой, смоченной в

нашатыре. Ее еле-еле довели до кладбища, боялись, что умрет.

И эта удивительная, ни на что не похожая скорбь так потрясла Вику, что ей стало казаться: она-то не так любила мать, как сестра,

потому что нет у нее ни слез, ни обмороков, и в могилу она не свалилась, а тетку едва удержали. Теткин муж, громадный седой генерал, почти на руках отнес ее в машину и увез.

На скромных поминках только и разговору было о генерале, машине, о том, как он ее нес, а она ничего себе женщина, килограммов восемьдесят – не меньше.

А потом был выход в генеральский дом. Вика, дитя московской коммуналки, вошла в квартиру, где прямо пахло чем-то необыкновенным. Потом она разобралась чем: генерал курил трубку, трубочный табак ему привозили откуда-то из-за границы, оттуда же «для отдушивания атмосферы» тетке передавали какие-то пакетики, которые она всюду рассовывала.

Вике дали на ноги необыкновенно вышитые тапочки, и она пошла по иноземному ковру, стесняясь заглядывать в комнаты слева и справа, мимо которых проходила, хотя ей очень этого хотелось. Ее привели в самую дальнюю, теткин комнату, и туда, будто из стен, просочились какие-то женщины с широкими некрасивыми пористыми лицами, но с таким покоем в глазах, что Вика даже растерялась. Такие глаза она видела только на картинах старых художников или иконах, а тут же обыкновенные советские женщины. Откуда ж такие глаза? Все они были в каких-то шелковых капотах, все двигались бесшумно, говорили тихо, и Вика не удержалась, подошла к окну. На улице был шестьдесят третий год, ехали машины, у троллейбуса сорвался привод, из двери магазина торчала очередь, а прямо напротив окон висел портрет Валентины Терешковой, и глаза у нее были нормальные, живые и уставшие.

Вика повернулась к женщинам – и будто пропала улица с портретом и очередью.

Женщины в капотах были сестры генерала, и, наверное, они были вполне хорошими, но была в них какая-то ирреальность, неправдоподобность. А тут еще раздался какой-то стук, оказалось, это гонг к обеду. И они тронулись по коридору, шелестя капотами и завернули в одну из комнат, в которую Вика стеснялась заглянуть.

К столу вышел генерал в расстегнутом кителе. Он пожал Вике руку и сел на главное место. Женщина в фартуке подавала обед, и все ели тихо, только слышались генеральские глотки. А за чаем уже говорили. Тетка сказала мужу, что Вика молодец. Дважды не

поступила в университет на очное, а теперь работает в корректорской и учится заочно. Генерал кивком головы одобрил такие поступки Вики. Тетка сказала, что учится Вика на редакторском отделении, и в этом месте сделала паузу. Вика решила, что эту паузу должна заполнить она, и уже было открыла рот, но все пористые женщины повернули к ней свои святые глаза, и она поняла: ей ничего говорить не положено.

– Ну что ж, – сказал генерал, – будем иметь своего редактора.

Видимо, именно для такого вывода и была предоставлена пауза, потому что тетка вся засветилась и сказала самое важное и самое главное:

– Иван Петрович пишет мемуары.

– Дадите почитать? – ляпнула Вика.

И женщины покрыли ее таким взором, что она едва выкарабкалась наружу. Тут-то она и поняла, что нельзя за здорово живешь просить генералов почитать их мемуары. Но генерал на нее не рассердился, наоборот, засмеялся и сказал, что вряд ли юной девушке так уж придется по сердцу военные истории, ей другие истории нужны...

Женщины в капотах хихикнули. Потом генерал спросил их, что нового на свете. По тому, как они встрепенулись, Вика поняла, что ответы у них готовы и они привыкли давать генералу отчет.

Викина тетка сказала, что «ту шубу» она решила все-таки не покупать, скорняк посмотрел и отсоветовал: не та мездра. Женщина в лиловом капоте пожаловалась, что у нее никак не получается изнаночный шов, а та, что была в сиреневом, сказала, что зря открыли у нас Ремарка, она никому-никому не советует его читать, сплошное хулиганство, а не литература. В малиновом сообщила, что покрылся плесенью клубничный джем, на что женщина в фартуке, убиравшая посуду, небрежно бросила: «Да переварила я его уже, переварила». – «Когда же? – пискнула в малиновом, смущаясь неполноценностью своей информации, и тут Вика не выдержала и снова подошла к окну. Вид отсюда был другой, но и он не оставлял сомнений в шестьдесят третьем годе нашего столетия. Дети несли в авоськах макулатуру, под забором, согнувшись, как в чреве матери, спал пьяный, в кинотеатре шел новый фильм «Гусарская баллада», из двери магазина высывалась очередь... Всюду живые люди, с нормальными глазами,

у которых наверняка нету ни капотов, ни серебряного гонга, ни иноземных ковров, а многие даже не знают, как не знает и Вика, что такое мездра... Все они бегут куда-то стремглав, и Вике так захотелось бежать вместе с ними, что она так прямо и сказала:

– Мне надо бежать.

Они провожали ее в прихожей все – и женщины, и генерал.

Смотрели, как она снимает вышитые тапочки и надевает свои триста раз чиненные босоножки, они все протянули ей руки лодочкой, а женщине в фартуке она крикнула куда-то в глубину квартиры «До свиданья!» Ответа она не услышала, да и не мудрено – такая квартира. Всю дорогу домой она ощущала на себе запах генеральской квартиры, это был хороший, чистый запах, но ей стало легче, когда сквозь него проступил наконец запах ее собственных дешевеньких духов.

Потом генерал умер. Были пышные, по рангу, похороны. И она шла в близком к гробу кругу. Вначале она боялась за тетку, что та будет себя вести так, как на похоронах сестры, – громко рыдать и падать в могилу.

Но оказалось – ничего подобного. Тетка соответствовала ритуалу, как соответствовали ему печатный шаг, траурная пальба, непокрытые головы штатских. Она шла точно в такт музыке, нигде не сбилась, нигде не нарушила строй, и эта ее безупречность была Вике так же непонятна, как вопли на похоронах матери.

Родственные отношения так и не сложились. Вика всегда жила в своем времени, и ей было важно не выпасть из него, не дай Бог не соответствовать ему, а тетка всегда жила вне времени, и смерть генерала ничего в ее жизни, в сущности, не изменила. Уехала одна из сестер, Та, которую она не любила, какая именно – вычислить Вика не могла. Еще одна умерла. Ушла женщина в фартуке, нашла себе работу – дворником в новом доме для дипломатических работников. Дали ей квартирку, даже телефон провели. Тетка осталась с одной из сестер, они постигали тайны изнаночных швов, ходили на дневные сеансы в кино, сердились, если в магазине продавали мороженный творог, писали жалобы и добивались своего – им выносили откуда-то Свежий творог, только-только из-под коровки.

Поэтому тетка считала, что умеет жить так, как надо, и всего можно добиться правильными действиями, и это глупости, если

говорят, что чего-то где-то не хватает: напишите в Жалобную книгу – и вам дадут то, что вы хотите.

В редкие встречи Вика не вступала с ней ни в объяснения, ни в конфликты. Иногда грешная мысль приходила в голову: ну вот умрет сестра генерала, она намного старше тетки, потом в конце концов умрет и тетка. Кому останутся эти иноземные ковры, бесчисленные сервизы, серебряный гонг, шубы, палантины, боа?

Детей у тетки нет, а племянница у нее одна она, Вика. Но нельзя было вообразить себя владелицей всего генеральского богатства, как нельзя, к примеру, перенестись в другое время. «Кому-то достанется», – равнодушно думала Вика. А вот попросить у тетки займы можно. Деньги у нее есть, по мелочи она ее иногда выручала, хотя каждый раз удовольствием это для Вики не было. «Почему у тебя нет денег? – спрашивала тетка. – Ты же работаешь?»

Вика не могла сразу придумать, что ей сказать в этот раз, для чего ей нужны целые три тысячи. Идея объяснения родилась у Вики спонтанно: эти деньги – отступные для жены человека, за которого Вика выходит замуж. Шелковые женщины разинули рты. Но Вика и вообразить себе не могла, как ловко она попала в точку. Во-первых, от женщины, которая такая материалистка (возьмет за мужа деньги), конечно, надо уходить. Как он (имелся в виду Алексей) жил с ней до этого? Во-вторых, об этом надо сообщить в общественные организации. Кто она? Учительница? Она не имеет права преподавать в школе. Вика уговорила их не принимать никаких мер, пока у них все не устроится, а потом уж, потом, мол, можно будет эту историю раскрутить. В общем, тетка сказала, что сходит в сберкассу и снимет три тысячи!

– Я напишу расписку, – сказала Вика.

– Глупости, – возмутилась тетка. – Что мы – чужие? – И срок она не стала оговаривать, больше того, сказала так: – А может, я и умру скоро, так тебе и думать о долге не придется.

– Тогда я возьму, – совершенно искренне сказала Вика, потому что к долгам всегда относилась серьезно, и сама отдавала в срок, и с других умела потребовать, если что...

Вика пообещала, что зайдет днями, а тетка предложила ей прийти вместе с Алексеем. Федорова она видела два раза, и он ей не понравился сразу.

– Какой-то он несерьезный, – сказала она после первой встречи. – Почему он зовет тебя Манефой?

– Он шутит, – засмеялась Вика. – Он со всеми так.

– Но я не позволю! – испугалась тетка.

– Ну что вы! – успокоила ее Вика. – К вам это не относится.

Но на всякий случай с Федоровым поговорила, заставила его выучить ее имя и отчество. Федоров во вторую встречу не называл ее никак, а когда провожал, не выдержал, сказал-таки:

– Позвольте вам пальтецо подать, сударыня-барыня Евпраксия Мелентьевна!

Тетка вошла в столбняк и выходила из него еще и через несколько лет.

– Отвратительный субъект, – подвела она итог Викиного замужества. – Как ты могла?

Вика думала, что Алексей на фоне Федорова будет выглядеть очень хорошо, и ей это было приятно, только бы тетка сдуру не начала разговор об отступном и об Анне. Надо будет этих старух как-то заранее предупредить, но тут же поняла, что это глупая затея, что если они захотят заговорить об Анне и о том, что ее надо гнать из школы, то заговорят. Ничто не способно сбить их с линии. Они живут по своим законам и порядкам, заведенным еще генералом, и там нет места рядовой житейской интриге и хитрости, которую ведет сейчас Вика. Значит, надо другое... Надо будет рассказать Алексею, что она придумала эту идею «отступного». Алексей, человек нашего времени, он поймет, что у нее не

было другого выхода, а то, что она все свалила на Анну, а не на Ленку, так это правильной, лучше. Зачем имя девчонки зря трепать?

– У нас есть деньги, – позвонила она в клетушку Алексею.

– Боюсь, что это уже не выход, – сказал он.

– Что случилось? – испугалась она.

– Все то же, – ответил он. – Слушать ничего не хочет...

– Ленка же обещала уговорить...

– Ну, это мы зря так обрадовались. Ленка – ребенок... Она сделает так, как захочет мать...

– А ты ей скажи, что имеешь право на размен. Ты скажи ей это, скажи.

Как она не сообразила это сразу? Упрется Анна, и Алексей предложит обмен. Ну и что она получит, что? Какую-нибудь занюханную квартиренку у черта на рогах.

Алексей Николаевич же думал совсем иначе. У Анны с Ленкой при обмене будет явное преимущество, и они смогут получить что-нибудь приличное. Ведь искать вариант можно до бесконечности.

А на что может рассчитывать он? На комнату в коммуналке, на те самые «семь квадратов», из которых он когда-то вылетел. Что ж, опять назад? И это после сорока лет? Общая уборная, общая ванная, счетчики, телефон в коридоре на стене...

Он почувствовал, как страх, липкий, холодный, вязкий, охватил его всего. Он удивился этому страху – ненормально же бояться того, чего не будет, не может быть, что предотвратимо, и не случится в его жизни. «Семи квадратов» никогда, никогда не будет.

Вика в столовой подошла к нему с подносом, села рядом и сказала, что они оба идиоты, если сразу вот так не взяли Анну в оборот: надо размениваться, и все!

Он не мог ее остановить, так убежденно говорила Вика о том, как вынуждена будет Анна согласиться на ее квартиру, потому что лучшего ей ничего не найти.

Алексей Николаевич думал о том, какие русские люди – великие аферисты. Есть выражение – судить со своей колокольни. Он просто видит сейчас вместо человеческих голов эдакие колоколенки, о четырех стенах, с башенкой вверху, и трезвонят, и трезвонят, каждая – свое.

Он очнулся, когда на него кто-то прямо изо рта брызнул водой. Он так и сидел за столом в столовой, только весь пиджак, вся рубашка были у него в вермишелевом супе.

Потом его осторожненько довели до медпункта, смеряли давление, сняли электрокардиограмму, сказали, что все в порядке, просто спазм. («Как у матери», – подумал он.) Объяснили, что хорошо бы вечерами ему прогуливаться, не есть жареного и жирного, у него наверняка не все в порядке с формулой крови. А в столовой пусть не садится затылком к солнцу, его просто перегрело, а тут еще запахи, не первый это случай, Но больше с журналистами, а не с технарями. Это даже хорошо, что и с ним случилось, так как он инженер и начальник

цеха и ближе к тем, кто занимается вентиляцией. Вот пусть теперь пошуруют кого надо.

Так между делом – уколom и кардиограммой – ему рассказали, и у него все прошло. Когда же Вика стала навязывать ему ключи от квартиры – иди, полежи, усни спокойно, – он категорически отказался, даже как-то резко, потому что вдруг опять зазвонили колоколенки. И она сразу замолчала, а он поплелся в свою клетушку.

До конца рабочего дня не выдержал, позвал заместителя.

– Пойду полежу... – сказал он. – Нехорошо мне как-то...

Ему предложили машину, но он отказался, даже рассердился, все же в порядке, просто слабость и противно от мокрой рубашки и майки, и запах остался от пролитого супа. Придет домой, все снимет, и пройдет. Действительно, на улице ему стало легче, а в троллейбус он попал почти пустой и мог сесть у открытого окошка. Когда уже ехал, сообразил, что ничего не сказал Вике, ну, хорошо, подумал он, не будет волноваться, а из дома он ей позвонит.

Производственные работы он застал в полном разгаре. Анна и Ленка в четыре руки наклеивали на пол в кухне клеенку; они торопились закончить все к его приходу, и закончили бы, если б он не пришел раньше.

Анна растерялась только на секунду, во вторую она уже заставила его тянуть угол клеенки, чтоб нигде не морщило. И он стал тянуть, а потом ползал на коленях, распрямляя складки.

Пол получился красивый, кухня стала нарядной, солнечной. Анна разглядывала ее с удовольствием, а потом спросила:

– А ты чего так рано?

– Спазм у меня был, – сказал он. Показалось ему или действительно в глазах у Анны

промелькнуло удовлетворение? И самое главное – он ее понял. Он бы тоже на ее месте был бы удовлетворен его нездоровьем, естественное чувство. Он ушел в кабинет, лег под свои железки и почувствовал: все проходит. Ах ты Господи, что за магическая у него комната, что за свойства она имеет? Почему ему так хорошо в ней и

покойно? Он лежал расслабленный, почти счастливый, а потом вспомнил, что надо звонить Вике.

– Наконец-то, – сказала она. – Чего ж ты ничего мне не сказал?

– Ты не волнуйся, – ответил он. – У меня уже все прошло.

– Если что, вызывай неотложку... Валидол у тебя лежит под подушкой?

– Лежит! Лежит! – засмеялся он.

Никакого валидола под подушкой у него не было, и тут он стал сравнивать обеих своих женщин. Вика – та создала бы вокруг него комфорт. Чтоб все под рукой, чтоб все было вкусно, красиво. Была бы тихая музыка, детективы, открытая форточка с марлей для дезинфекции. Он бы болел, как король. Анна – другая. «Мужик есть мужик. Чуть что кольнет, он уже ложится. Что тебе сказали врачи? Гулять! А ты что сделал? Лег! Лежи, мне не жалко, только здоровей от лежания не становятся». Так бы она сказала. И он бы встал, начал расхаживаться. Сейчас они сменяются с Ленкой, и у нее никаких поползновений прийти к нему, узнать, что с ним. Первым делом сунула ему клеенку в руки. Он вернул себя в состояние раздражения против Анны, неприязни к ней: какая она противная внешне, ходит в этом коротеньком халате, который жалеет выбросить. И хитрая, хитрая, могла бы и спросить насчет пола, стоит ли, мол,

покрывать, нет, ведет себя как полновластная хозяйка, которая собирается здесь жить вечно.

И тут ему вдруг пришла мысль: а что если ему взять и попросить себе квартиру? Сдается как раз большой дом. Пусть ему дадут двухкомнатную. И он перенесет туда весь свой этот кабинет и так же все расставит и заберет Вику. И никто ему ничего не скажет – старую семью не обидел и федоровским добром не воспользовался. Ну почему, почему не пойти ему навстречу? И он стал приводить себе причины, по которым квартиру ему дать можно и должно. Во-первых, он уже двадцать лет в издательстве – и ни одного у него серьезного срыва по работе не было. Как пришел сюда из института – так и работает. Одна-единственная запись в трудовой книжке. Ну его там двигали, повышали, но на одном же предприятии. Во-вторых, эта квартира дана ему взамен той, двухкомнатной, материнской. Значит, по сути, и эта квартира материнская. А он просит себе лично. Первый раз именно себе. Ведь ему еще работать почти двадцать лет, да гораздо

больше, мало кто в шестьдесят уходит. Так можно ему в счет всех будущих лет пойти навстречу сегодня? Чтоб не было у него этих отношений, объяснений, черт подери, вот до спазма дошел... Такими убедительными, такими бесспорными казались ему доводы, что он прямо с утра решил идти к директору.

– Ты в своем уме? – спросил его директор. – Мы когда тебе давали трехкомнатную? Три года назад... И теперь снова? – Он достал из стола список и подал его Алексею. Большой список, на четыреста человек, адом сдавали на двести семьдесят квартир.

– Твои проблемы – проблемы сытого, а у меня, голодные. Меня попрут отсюда через три дня, если я начну вникать в твои семейные истории... У тебя – будем говорить грубо – две женщины. И у каждой из них есть квартира, и каждая готова тебя прописать на своей площади.

– Постой, – сказал Алексей Николаевич. – Я сам чего-то стою на этом свете?

– Все, чего ты стоишь, ты имеешь. Квартиру и зарплату... Ты меня не путай... Ты же хочешь большего. Невозможного по нынешним временам... Ты хочешь, чтоб государство несло расходы по твоему жуированию... Да или нет?

– Нет, – сказал Алексей Николаевич. – Я у тебя буду работать еще двадцать лет... Я у тебя стану дедом... И мне будет тесно в моей трехкомнатной... И я приду к тебе примерно через пять лет... Так вот, я не приду больше никогда. Давай напишу это кровью... Помоги мне сейчас.

– Над тобой не каплет, – сказал директор.

– Да мужик же я! – закричал Алексей Николаевич. – А ты из меня хочешь сделать или бандита, или примака.

– Это твой трудности, – сказал директор. – По своим вексям сам и плати...

Алексей Николаевич не видел, что в спину ему глядел сочувствующий человек, что у него самого недавно мучительно, из-за квартиры, разводилась дочь, молодая еще, тридцати лет, в старуху превратилась, делаясь с мужем. Он столько тогда передумал о всех этих квартирных делах, додумался вообще до парадоксальной мысли: чем с квартирами лучше, тем с ними хуже. Люди так быстро начинают ценить блага, что всякое напоминание, намек – вот, мол, раньше, в

коммуналке, – вызывает такое бешенство! А с другой стороны, что может быть страшней коммуналки! Появились, правда, сейчас певцы коммунального братства: делились, мол, солью, ходили в гости, вместе смотрели телевизор... Была, конечно, какая-то рожденная необходимостью общность. Даже не необходимостью – бедой. Потому что коммуналки – беда. Они разрушали в человеке его право на самостоятельность, индивидуальность, тайность если хотите, его право закрыть дверь в личную жизнь. Без такого права человек не человек. То есть они, конечно, его поколение, были люди, и еще какие! Они заполнили все свое внутреннее человеческое пространство коллективизмом и были с ним сильны и непобедимы. Но нельзя же до бесконечности выращивать в человеке одну его ипостась? Может, нынешний эгоизм молодежи и есть тот противовес, который необходим, нужен обществу, чтобы в конце концов и родилась та гармоничная личность, до которой он, директор, уже не доживет?

Ему вот достались коммуналки и проблемы Алексея Николаевича. Какие это проблемы? А серьезные – хочется мужику остаться человеком в нечеловеческой ситуации. Как же иначе назовешь положение, когда мужик сам, своей рукой разрушает над собой дом, а хочет не получить царапин, ушибов, хочет не замараться. Ничего у него не получится. Ни у кого не получится, раз такое делаешь. Он посмотрел на список нуждающихся в жилье – четыреста фамилий! И даже рассердился на Алексея Николаевича за то, что тот отвлек его от дела трудного и безусловно более важного... «А что-то будет и потом, – вскользь подумал директор, – когда мы наконец всех расселим и еще место останется. Только когда это будет? И будет ли?»

А в это время Анна Антоновна слушала ответ той самой ученицы, мать которой обещала ей ковер любого размера. Девочка мучительно пробивалась к идейному содержанию «Мертвых душ», набила на этом деле мозговые мозоли и с трудом выдавила из себя слова, что «Плюшкин – жадный и скупой, а Ноздрев – пьяница и алкоголик».

– Правильно, – сказала Анна Антоновна. Она не слышала ответ, а просто видела, что девочка что-то старательно говорит, а это у нее

нечасто случается. Подбодренная учительницей, девочка сообщила еще, что «Манилов мечтает о мостах, которых нет, а Собакевича Гоголь сделал топором». Анна Антоновна видела, что класс хихикает, но у нее не хватало сил вникнуть отчего. Она думала о том, что Алексей Николаевич ушел сегодня рано, очень рано, пока она была в ванной. Она вышла, а его и след простыл. А ведь вчера он так старательно тянул край клеенки и разглаживал на ней морщины. Сегодня же его как ветром сдуло. Она слышала, что он вечером звонил пассивно, успокаивал ее. И ее, Анну, этот звонок успокоил, значит, ушел он, ей ничего не сказав, и ушел домой. Значит, если у него болит, он ведет себя как та собака... Но больная собака, кажется, бежит из дома? Неважно... Он же не буквально собака, он пришел и тянул клеенку. А сегодня утром умчался, не попив чаю, определенно к корректорше, замаливать, зализывать, зализывать вчерашнее.

Так думалось Анне Антоновне. На перемене к ней подошла отвратительная особа, инспекторша роно, и сообщила. Что хочет посидеть у нее на уроке.

Конечно, учитель вправе не пустить на урок посторонних, будь это даже инспектор, но за двадцать лет работы Анна Антоновна не видела, чтобы кто-нибудь когда-нибудь воспользовался этим правом. Она мысленно послала инспекторшу к чертовой бабушке, а вслух вежливо разрешила. Эта особа когда-то работала у них после института, пришла вся такая новенькая с иголки, и по одежде, и по знаниям, и началась у нее чехарда. Все кругом у нее были дураки – и учителя, и ученики, и родители. И не то чтобы это про себя, а громко так, вслух: «Дураки! Идиоты! Кретины!» Ей объясняли – нельзя так. Непедагогично дурака называть дураком. Помучались с ней и выдвинули в роно: все-таки от живого школьного дела подальше, а отвлеченные знания по предмету у молодой учительницы были. Житья от нее не было тем, к кому она приходила на урок, но так как все ее знали, то к ее разоблачительным реляциям относились спокойно. Между собой учителя говорили так: «Собака лает – ветер носит». Тем не менее Анну Антоновну коллеги провожали в класс сочувственно.

После урока в уголке учительской инспекторша начала сразу, без экивоков: «Почему вы на уроке такая, простите, рохля? Что у вас за вид, что за манера держаться? Почему вы выглядите как жена, брошенная мужем?»

И тут с Анной Антоновной случилась истерика. Никто никогда не мог ее заподозрить в слабых нервах, величавое спокойствие – это был ее стиль, а тут крик, слезы, рванула у горла кофточку. Инспекторша побелела как мел, кинулась, принесла стакан воды. Анна швырнула в нее этим стаканом, попала в полку с журналами, стакан не разбился, а полка рухнула. Попадали журналы, посыпались из них разные бумажки, все кинулись их собирать и ходили по ним ногами. Потом все бросились к Анне, положили ее на диван и стали ей все расстегивать, а Анна взахлеб рыдала. И тут все пошли на инспекторшу, и та испуганно оправдывалась, что ничего не успела и сказать, только про вид...

– Вы сказали... – рыдала Анна, – что у меня... вид... брошенной жены... А если это на самом деле? Вы подумали, если на самом деле?

– Учитель должен всегда выглядеть, – защищалась инспекторша. Это был ее конек – учитель и его вид. У нее самой были потрясающие одежды, ее мать была видным модельером, создающим свой, неподвластный Парижу стиль. В одном экземпляре – для дочери – все выглядело идеально. И потому что инспекторша выросла в мире красивых вещей, которые создавались на ее глазах буквально из ничего, – мама любила фантазировать, – никакие разговоры о том, что чего-то там нет, в расчет не принимались. «Посмотрите на меня!» – говорила она. Единственный экземпляр, единственный вариант был для Нее реальной самой жизни, так же, как напечатанный в педагогике тезис был живее живого дышащего класса.

Какой начался учительский бедлам! Учитель физкультуры вынужден был ножкой стула закрыть дверь, чтоб, неровен час, какой-нибудь ученик не заглянул и не увидел: воду на полу и плавающие в ней разные бесценные справки и документы; учительницу Анну Антоновну на диване в расстегнутой кофточке, над которой размахивают журналом, снимают с нее туфли и укладывают ей ровненько ноги; инспекторшу, закаменевшую в углу, а вокруг нее с указками, циркулями, все, как один, вооруженные, дорогие товарищи учителя. И идут в учительской в полный голос два наиважнейших в жизни разговора.

– ...Так что у вас с мужем, душечка вы наша Анна Антоновна?

– ...Да мы тут света белого не видим, нам умываться – некогда, а вы нам – вид?

Неважно, как протекали дискуссии по обоим вопросам, главным было то, что о семейной драме Анны Антоновны узнала школа и решила школа этого так не оставлять.

– Сейчас уже в это не вмешиваются, – сказал учитель физкультуры. Он сам недавно тихонечко разошелся и так же тихонечко собирался жениться второй раз, но на случай возможных осложнений он уже знал, чем отбиваться, – тезисом, что в эти вопросы нельзя вмешиваться. Но давать добрые советы десятку взволнованных женщин – не просто пустое дело, а и небезопасное. На него, единственного мужчину, вылилось то, что должно было вылиться на Алексея Николаевича, будь он здесь... Физкультурник слушал и сочувствовал Алексею Николаевичу, и благословлял судьбу, что свои дела сумел решить мирно и без шума.

Ленка убежала с уроков. Вчера она с удовольствием помогала матери с полом и, конечно, ничего не выучила. Сегодня же увидела, что к матери на урок пошла инспекторша, поняла, что у Анны Антоновны будет трудный день и будет ей не до дочери, а учителям – опять же из-за инспекторши – не до Ленки, поэтому улизнула она из школы легко и спокойно. Сначала она просто шаталась, смотрела, кто в чем, отметила про себя, что входящие в моду шестимесячные завивки – уродство. Куда лучше были прямые, струящиеся волосы. Ей, конечно, легче прожить, она десятиклассница, им все равно ничего нельзя, а когда она окончит школу, то, может статься, будет другая мода – еще целая осень, а потом зима, весна... Что еще придумают?

Скорее бы конец этой проклятой школе, скорее бы! И куда-нибудь сбежать бы... Может, пока родители разводятся-сводятся, они оставят ее в покое и не будут приставать к ней с институтом? Ведь ей ничего не нравится! Ничего!

Если совершенно откровенно, то хотелось бы ей ехать и ехать в бесконечность на машине с хорошим парнем. И чтоб кругом все проносилось мимо, мимо... Так бы она ездила, пока не устала. Потом – может быть! – она родила бы от этого парня ребеночка и растила бы его до трех или даже пяти лет сама... Потом – может быть! – она

пошла бы работать в библиотеку, причем техническую, чтоб приходили не эти несчастные книголюбы, чокнутые на фантастиках и детективах, а солидные люди по делу. И она им помогала бы в их деле. Она любит помогать, у нее такое амплуа. Она безынициативна, никогда не была лидером – так о ней писали в характеристике для «Артека», – но великолепный помощник (второе лицо) всех лидеров и инициативных. Вначале Ленка обиделась, а потом разобралась, что это Й справедливо и необидно, тем более что лидеров и инициативных пруд пруди... Только работать некому.

Ленка понимала, что идеальный, на ее взгляд, вариант жизни у нее все равно не получится. Все будет просто и противно. Ее будут пихать куда-нибудь в институт и запихнут-таки. А дальше начнет разматываться серая-серая лента будущего, как у мамы и папы, у тети и дяди, как у всех... Мелькнула тут недавно у нее надежда, что сможет появиться машина. Даже голова закружилась от такой возможности, но... Какая там она, предположим, не стерва, но настаивать на машине, когда, может, у родителей что-нибудь сладится, она не будет. Ее точка зрения – им надо расходиться и попробовать начать все сначала. У отца даже есть конкретная возможность, что касается матери... то если ее потесать по бокам, вполне ничего еще женщина. В том-то весь и ужас их брака, что никто из них не хочет стать лучше друг перед другом. Она приходит к подружкам – то же самое. А вот есть одна мама, у которой нет мужа, так она выглядит моложе дочери. Конечно, если умирать в сорок лет, как было раньше, это нормально. Опустился, дошел до ручки и в ямку. Но теперь ведь живут, слава Богу, долго. У родителей еще полноценной жизни – ну до климакса будем считать – лет десять. А на кого они похожи вместе? А мать боится разрыва, боится панически. Или это в ней играет самолюбие? Во всяком случае – пусть как хотят...

Ну, а если б купил ей отец машину? Разве можно было взять и поехать в неизвестном направлении, чтоб все мимо? Все равно ведь нет! И парня пока нет... Ничего нет. И все равно не печально это, а радостно, потому что все впереди... Надо только придумать, чего ей хочется, но рассчитывать надо на имеющийся под рукой материал. В полиграфический она не хочет! В педагогический она не хочет! На перекрестке она пропустила перед собой машину Федорова. Смеряли они друг друга взглядом от нечего делать и разошлись-разъехались.

«Нет! – подумала Ленка. – Иметь в Москве машину, чтобы подчиняться всем светофорам, всем этим правилам движения! Стоишь и ждешь, стоишь и ждешь...» Правда, она, пешеход, тоже стоит и ждет. И тут Ленка взяла и свернула на ту улицу, на которую машины не имели право заворачивать, а потом стала их дразнить, переходить улицу неожиданно и криво, и машины покорно тормозили всеми своими вонючими лошадиными силами.

«У девчонки волевое лицо», – подумал о Ленке Федоров. Отметил он это профессионально, и хотя давно снимал всех совершенно одинаково – прямо или в три четверти, без улыбки, равнодушно и строго, – он же знал, чего какое лицо стоит. Но мало ли что он знал! За то, что он знал, ничего не платили. А за украшение картоном, которым он занимался последние годы, платили хорошо. Слева и справа на улицах на него смотрели люди спокойные и строгие, а то, что никто не обращал на них никакого внимания, уже не его дело. Он не хочет мучиться с фотоаппаратом возле опавших кленов, он не хочет приносить снимки, которые печатаются кровью. Потом обязательно выяснится, что все хорошо, только вот кровь – лишняя. Ах, какая она лишняя всегда кровь! Как хорошо без нее, если подумать. Никаких анализов, никаких РОЭ. Целый институт можно закрыть, а из работников создать хорошую ударную бригаду по уборке листьев с клена. Нету крови и мусора меньше.

Думалось же иногда Федорову неизвестно о чем. Это Ленкино лицо – решительное и нахальное, а не равнодушное и строгое – подвигло его на отвлечение от дел мирских и личных. Именно сейчас можно было позволить себе отвлечение, потому что на сегодняшний день у Соньки все было более-менее. Врачам он сказал: «Мне чтоб она была жива, остальное не имеет значения». – «Что значит остальное? – строго спросил его доктор. – Это ваш ребенок – остальное?» – «Именно», – подтвердил Федоров. «Они все такие, пока ребенка нет, – вмешалась медицинская сестра. – А потом уже и жена не нужна». Федоров хотел сказать ей, что она дура, но не скажешь же так человеку, который делает Соньке уколы. Но он все равно посмотрел

так, что она поняла, что дура, и обиделась, и решила, что хватит, не будет она опекать эту хлипенькую женщину, у которой есть манера выдергивать нитки из одеяла и наматывать на палец; она это заметила, а не сказала, но теперь обязательно скажет, что это все результат бесплатного лечения в нашей стране, а значит, можно не беречь одеяла.

Федоров же был горд, что сдержался. Как его воспитывает страх за Соньку, он все терпит и на все идет, было бы у нее только все хорошо. О выразительности своего взгляда, который медицинская сестра прочитала, Федоров просто не подозревал.

Завуч школы решительно набирала номер парткома издательства, а на нее горячо, побуждающе дышал коллектив. Анну Антоновну вместе с учительницей черчения отправили домой. Хотели с Ленкой, но эта негодяйка, оказывается, сбежала с уроков. Отправили из школы и инспекторшу. Так ей и сказали: «Не нервнируйте нас сегодня. Хватит!» И теперь вот – звонили. Завуч не знала, что скажет, она полагала, что правильные, нужные слова найдутся сами, как только ответят на том конце провода.

– Слушаю, – раздался усталый голос.

– Мы что с вами строим? – строго прокричала завуч.

– Я? – устало сказал человек там. – Я лично ничего не строю. А кто это говорит и строит?

– Говорит завуч школы, а строит, между прочим, вся страна...

– А! – сказал секретарь парткома. – Здравствуйте, подшефная! Чего вы на меня кричите? Чего я для вас еще не сделал? Или не достал?

Но завуч быстро прекратила этот фамильярный разговор и объяснила, кто она и цель и смысл своего звонка.

– Как я говорила? Как? – спросила она учительниц, положив трубку.

– Замечательно! – сказали они. – С ними только так и надо. Вплоть до...

Секретарь парткома положил трубку и вспомнил о звонке инструктора райкома, хотел вызвать Алексея Николаевича, но вовремя

сообразил: с ним что-то вчера случилось неприятное в столовой, приступ какой-то, вот у него на столе лежит докладная их врача: «В пятый раз довожу до вашего сведения, что вентиляция в столовой...»

И тогда он вызвал Вику.

Она вошла так, как всегда входила к начальству – максимально готовая ко всему. Вся ее собранность проявлялась в том, что она делалась некрасивой, холодной и бесстрастной. А то, что одета Вика всегда была хорошо и со вкусом, не смягчало впечатление, а, наоборот, усугубляло. Делался вывод: как бы она не рядилась, а как есть ведьма, так и есть. Именно это подумал секретарь. И еще подумал, что издали она совсем так не выглядит, а даже кажется симпатичной, а тут...

– Садитесь, – Сказал он.

Вика села, и это была Вика, сидящая у начальства, а не та, которую знал Алексей Николаевич и издали видел секретарь парткома.

– Когда у вас кончается кандидатский стаж? – спросил он.

– Через три месяца, – чеканно ответила Вика.

– Что ж вы в такой момент, а не думаете о будущем, – нескладно выразился секретарь, потому что стеснялся предстоящего разговора. А еще он не понимал Алексея Николаевича, у которого с «этой» роман. На его взгляд, Анна Антоновна была лучше, приятней, куда более женщина. – Короче, что там у вас в семейном плане?

– Что, у парткома нет уже других дел, как вникать в мои семейные дела? – резко сказала Вика и испугалась своих слов, но что-то в ней сломалось, какая-то придержащая узда, и готова она была сейчас вцепиться секретарю в горло, хоть и было ей тем не менее страшно: что ж это она делает?

Секретарь же почувствовал себя уязвленным, потому что дел у него невпроворот, он потому так быстро на звонок среагировал, чтоб отделаться скорей, не хочет и не будет он заниматься этой историей, а женщина ведет себя так, будто он на самом деле сидит тут ради нее и ее семейных дел.

– Приведите все в порядок, – сказал он тем не менее миролюбиво, считая, что такие слова и концом разговора могут быть и, так сказать, указанием, что делать.

Щ У меня все в порядке, – ответила Вика, продолжая сидеть. – Что вы имеете в виду?

«Она что – идиотка? – подумал секретарь. – Не понимает?»;

– Звонили из школы, – сказал он, – где работает жена Алексея Николаевича. Что я им должен был сказать, по-вашему?

– Вы не помните, я к вам приходила, когда от меня ушел муж? – спросила Вика.

– Меня тогда здесь еще не было, – ответил секретарь.

– Поинтересуйтесь! Стыдно по этому поводу звонить, вам должно стыдно слушать и стыдно меня вызывать! – жестко сказала Вика.

– Приведите свои дела в порядок! – повторил секретарь. – Мне совершенно не стыдно вам это говорить.

– А как, если она ни на что не соглашается?

– А вот это уже не мое дело как... Как хотите... Идите, мне вам больше нечего сказать, – подчеркнул он это Вике, которая продолжала каменно сидеть. – Я на самом деле не знаю как... Я живу с одной женой тридцать лет, и мне хватает, – Он вдруг понял, что сказал не то, понял по тому, как мучительно сжала Вика рот, как будто сразу из всех зубов у нее вывалились пломбы. Действительно, ляпнул... «Мне хватает»... Какой-то желудочный аргумент.

Вика наконец встала и пошла, и он старался не смотреть ей вслед, потому что мог ее вернуть и пожалеть, а ведь эти бабы из школы будут звонить ему еще и требовать ответа на вопрос, что он сделал. Как это вначале? Что, мол, он строит? Терем-теремок строит... Лягушка-квакушка в нем, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка... Сплошные индивидуальности, а он им: «Да хоть не ешьте вы друг друга!» Но это так, шутка! А серьезно: жалко их всех, дураков, у которых такие неприятности. Жалко...

Вика прямо из парткома пошла в клетушку Алексея Николаевича и рассказала ему все. Так уж ей было и горько, и обидно, и противно, особенно после этих слов: «а мне хватает». Будто ей, Вике, не один мужчина нужен, а кавалерийский полк; нашел тоже аргумент – что она про вчерашний сердечный спазм у Алексея Николаевича просто забыла. Ночь всю об этом думала, представляла – ему плохо, а он стесняется вызвать неотложку, а тут забыла и все. А вот когда все сказала, а он как-то боком прижался к выдвинутому ящику стола,

вспомнила и испугалась. И стала все переводить в шутку: это же надо, мол, хохма какая! Что это Анна – совсем сбрендилась? Какого мужика таким способом можно удержать? Да никакого! Сама рвет под собой мины.

– Ты ей скажи, – посоветовала Вика, – прямо сегодня, что будешь обменивать свою квартиру, и ей некуда будет деться. Поверь – это единственный выход заставить ее поступить разумно.

– Я обязательно ей скажу, – сказал Алексей Николаевич. – Обязательно!

Он согласился бы сейчас с любым предложением Вики, потому что важно было, чтоб она ушла. Тогда бы он подошел к окну, открыл его и сделал три глубоких вдоха, а главное – выдоха, полных, освобождающих всю грудную клетку до самых кишок для-одного-единственного сердца, которому сейчас тесно.

А Вика не уходила. Она же видела, что ему плохо, как же она могла уйти? Она сама сообразила, что надо открыть окно, и открыла. И он улыбнулся ей, благодарный, и сделал свои вдохи-выдохи. Отпустило.

Выработали линию. Он говорит Анне об обмене. Теперь после звонка в партком все определилось ясно (а что, раньше еще ясно не было? – мелькнула у Вики мысль, но она не стала ее высказывать). Он должен совершенно откровенно поговорить и с Ленкой, в конце концов у нее есть право выбирать, с кем остаться, и он просто обязан предложить ей остаться у себя. Вика на этом особенно не настаивала. Что она – зверь?

Если Анна идиотка примет идею обмена буквально, пусть. Пока будут разные варианты, Алексей Николаевич будет жить у Вики, ему, видимо, достанется при обмене комната в коммуналке (семь квадратов! семь квадратов!), но они сразу обменяют эту комнату и Викину на трехкомнатную. Но, Боже, какая это несусветная чушь, если можно сразу, без крови, иметь две нужные квартиры. Она бы, Вика, не тронула бы ничего, не рвать же полки с мясом? Она бы оставила в маленькой комнате для Ленки гобелен с зайцами. (Конечно, если та не выберет отца. Сейчас у многих девчонок, она, Вика, слышала, с отцами контакт больший, чем с матерями.)

– Только не у меня, – сказал Алексей Николаевич.

– Я ведь не старуха, – вдруг неожиданно для самой себя ляпнула Вика, – я еще рожу тебе сына!

Какие это сладкие были слова! Как все неуверенные в себе мужчины, Алексей Николаевич очень хотел сына. В молодости мечталось: он идет по улице с парнем, высоким, красивым, но тем не

менее очень похожим на него, чтоб все видели и говорили: Ах, какой парень! – и понимали: сын. Он мечтал научить его жизни. Не передать те мелкие в чем-то даже пристыдные приспособления к ней, которыми сам пользовался, а научить настоящим правилам, которые он знал, а применить не сумел. Сын – это оправдание всей жизни, если он хороший, настоящий сын, но ведь другого у него быть и не могло? Но родилась дочь и ничего, ну просто ничего не компенсировала. Ленка исхитрилась без его помощи приобрести те качества, которые в принципе ему нравились – прямоту, достоинство, решительность, но так как все это она воспитала в себе сама – и это на самом деле, – то все хорошее в себе она считала противопоставлением всему родительскому. Какое там продолжение отцовских и материнских черт! Грубо все выглядело так: хорошее у нее от нее самой, а плохое от них – отца и матери. У них с Анной разговор о втором ребенке был всегда очень определенный – ни за что! Снова бессонные ночи? Снова бутылки-пеленки? Снова свинки-ветрянки? А потом вырастет такая гадюка, как Ленка, и будет требовать джинсы за двести рублей? Ни за что! И вдруг это – я рожу тебе сына! Как возвращение в юность, в то время, когда некрасивое само по себе превращается в прекрасное и двери открываются только в одну сторону, только для тебя. Черт возьми! Он же еще не старик! Что такое сорок три года по нынешним временам? Мальчишка! И он еще будет идти по улице с сыном и все будут говорить: Ах, какой парень! Именно Алексею Николаевичу захотелось, чтобы Вика забеременела быстро, чтоб ходила с животом, тогда все сразу замолчали бы. А главное – заткнулась бы Анна. Это же придумать – звонить в партком! Он ей сегодня устроит!

Ляпнув; не подумав, о том, что она может родить сына, Вика решила, что всякая ложь – не ложь, если ее превратить в правду. Ей надо сходить к гинекологу и продолжить лечение, никто ведь ей не говорил, что у нее безнадежная болезнь, просто раньше она к этому относилась спокойно, а сейчас это, можно сказать, наиважнейший вопрос. Как он засветился при слове «сын». У него даже все прошло с сердцем, встал со стула, стал ходить по клетушке, зарозовел. Совершенно случайно она таким образом узнала его тайну, его желание. Значит, надо, чтоб сын родился! Завтра же, завтра же она пойдет к гинекологу. И попросит направление в институт, и ляжет на сколько нужно, если потребуется. Так-то, Федоров!

Анна едва вытолкала от себя подругу. Ей надо было разобраться во всем, что произошло с того момента, как она пульнула в инспекторшу стаканом с водой. Было что-то неприличное в ее истерике; она знала и пуговичку рвала, и туфли с нее снимали – все это, конечно, фи! Но если в результате всего Алексей успокоится, то все это стоило и можно пережить. Завуч позвонит ему на работу, говорить она не умеет, что-нибудь ляпнет, но это-то и хорошо. Тогда с ним будут говорить, исходя не из того, как он себя ведет и чего хочет на самом деле, а исходя из глупого звонка. Чем глупей история, тем лучше. Вот уперся он в эту квартиру, глупо уперся – и это его слабина. Хочет ее запихнуть в квартиру пассии – это вообще несусветная чушь, какая и в дурном сне не приснится. И это уже не просто слабина – слабоумие. Со слабым, и глупым, и растерянным она справится. Всю жизнь справлялась. Сильных она боялась, это у нее с пятнадцати лет, когда на дне рождения подруга ее в кухне резко повернул к себе, а потом прижал к стене взрослый совсем парень и стал целовать, как хотел, а она боялась, что войдут, боялась крикнуть, боялась всяких страшных последствий, а вырваться не могла, такой он был сильный. Он тихо так прямо в ухо говорил: «Спокуха, девочка, спокуха!» Не бандит, не хулиган, даже не пьяный, просто сильный парень, которому она понравилась. И это было для него достаточно. С тех пор она стала бояться сильных, которые не спрашивают. Все ее романы до Алексея были с деликатными мальчиками. Ей нравилось «доводить их», а потом размыкать их руки и уходить. И Алексею размыкала руки, – сильные руки, не слабее, чем у «того», но он никогда, никогда не использовал свою силу ей вопреки. Именно за такого – со спрятанной силой человека – она выходила замуж. Такой ее был идеал. Умный, но умом не бахвалится, сильный, но мускулами не играет. Вот когда будет нужно... Потом выяснилось, что та жизнь, которую они вели, не требовала ни особой силы, ни особого ума. Все шло, как шло, и только однажды надо было напрячься: когда воевали за эту квартиру. И Анна тогда утвердилась в своем убеждении: Алексей тут был и расторопен, и ловок, и умен. И она ему была подстать: и умна, и хитра, и оборотиста. А во всей остальной жизни Анне нравилось

разглагольствовать на тему о феминизации мужчин, о том, что все они уж очень стали нежные, чуть что – с ними инфаркт, но, заметьте, все микро, микро... А женщины как раз умирают сразу. Они всей учительской писали разгневанное письмо в «Литературку», когда там опубликовали эту пресловутую статью «Берегите мужчин». Вот уж они возмущались, вот возмущались!

И сейчас Анна боялась возможного проявления энергии и силы Алексея, хотя, честно говоря, не очень в это верила. Он обожает свой кабинет с этими фиглями-миглями на стенке. Он замирает в нем, как она в раннем детстве, во время войны, замирала зимой на русской печи в деревне. Лежит и не шевелится, и слушает – себя ли, печку ли, избу ли... И так становится тепло, покойно, защищенно и счастливо. Нет, чем глупее будет звонок завуча, тем лучше. Глупость, как и все в природе, обладает центробежной и центростремительной силой. Смотришь – и уже две глупости. Три... Двенадцать... Сто... А если ты их запрограммировал и ожидаешь, то тебе очень просто быть умным. Не было бы ума.

...А его и не было.

Звонок в партком, желание Вики родить сына, какие-то неприятные ощущения в груди и под лопаткой – все вместе вызвало в душе Алексея Николаевича не силу и желание что-то предпринимать и действовать, а какую-то пакостную, мелкую ненависть ко всему существу.

Он без причины наорал на помощника, потом отдал идиотское распоряжение по поводу нового оборудования – велел оставить его во дворе и накрыть брезентом, а для оборудования уже было освобождено место в цехе, и теперь получалось, что станки будут фактически занимать два места: пустое, для них приготовленное, и то, что во дворе... В общем, глупое решение, слов нет, а он уперся и кричит: «Где я возьму людей, где у меня грузчики? Откуда у меня на это деньги?» А помощник уже нашел людей, не за так, конечно, надо было им что-то выписать, но Алексей Николаевич топал ногами, будто в жизни своей не целовался, будто ни на какие нарушения никогда не

шел. Помощник вышел на дребезжащую лесенку, в сердцах с Нее сплюнул, назвал Алексея Николаевича идиотом и пошел в кладовую за брезентом. И плевок, и идиота видел и слышал приятель Алексея Николаевича, он шел мимо и не старался к нему сейчас заходить, а тут поднялся узнать, что там случилось.

Алексей Николаевич стал ему рассказывать, но не про станки, а про звонок в партком и про то, что туда вызывали Вику.

– Земля горит, – сказал приятель. – За три месяца вы не разведетесь, это точно, тем более не решите ничего с квартирой. Я б на вашем месте ушел пока в подполье. Пока у Вики не решатся ее дела.

– Ну нет! – возмутился Алексей Николаевич. – После этих пакостей? Я как раз собирался говорить с Анной окончательно.

– Ну и идиот, – повторил недавно услышанное приятель. – Все надо наоборот. Потушить страсти. Никто не дурак, чтобы думать, что у вас все наладится, но мирным сосуществованием с Анной ты сможешь людям не выступать против Вики. Замри и ляг. Можешь вести мелкую прицельную обработку, но только так, чтобы никаких больше звонков. Знаешь что? Прикинься больным. Больные решения не принимают.

– Это подло, – сказал Алексей Николаевич.

– Конечно, – сказал приятель. – Но нельзя в твоей ситуации быть хорошим для той и другой. Тебе надо, чтобы у Вики было о'кей. Так?

– Да, – согласился Алексей Николаевич. – Безусловно.

– Замри и ляг... – повторил приятель. – Тебе все будут благодарны за отсутствие склочного дела.

– Как же я должен себя вести?

– «Ай, ай, ай, Анюта! – скажешь ты дома. – Зачем же ты меня провоцируешь, если я еще ничего не решил?» – «А ты решай!» – завопит она. – «Быть бы живу!» – скажешь ты и ляжешь на три месяца.

– Обман, притворство... Не могу!

– Так только говорится! – философски сказал приятель. – Все не могут и опять же – все могут. Потому что такая жизнь: хочешь нарушать, умей бегать.

От разговора с приятелем отвращение ко всему сущему настолько увеличилось, что Алексей Николаевич вдруг поймал себя на мысли, что он и Вику видеть не хочет, не то что Анну, что ему ничего не надо, оставили бы его все в покое. В этом смысле совет заболеть, может, и

был стоящ... И тут заняло сердце, и то, что оно, единственное, болело на самом деле, а значит, было нефальшиво, вызвало у него такую жалость к себе самому, что хоть плачь...

Ну действительно... Он ведь хочет все порядочно. Чтоб разойтись, но здороваться, и руки протягивать при встрече... Он не хочет никаких омерзительных обменов, он же предлагает Анне идеальный вариант... И поволокло его волоком, опять по этому сто раз хоженному лабиринту. Кабинет... Федоров... Мама – метростроевка... Семь квадратов, семь квадратов... Пришло ощущение полной безысходности, и снова надо было подойти к окну и делать эти свои вздохи-выдохи.

Домой он решил идти пешком. Слава Богу, у Вики была политучеба, она потолкалась было – может, сбежать? – но сама, умница, решила: вот этого сейчас делать не следует.

Алексей Николаевич выходил вместе с секретарем парткома.

– Подвезти? – спросил секретарь. – Или ты не домой?

– Домой, домой! – сердито сказал Алексей Николаевич и залез в машину, хоть ехать-то как раз и не хотел. Говорили о разной ерунде, о том, что нельзя класть ногу на ногу: пережимается какой-то сосуд и может быть впоследствии инфаркт.

– Я теперь где бы ни сидел, фиксирую ноги, – сказал секретарь. – И тебе советую.

Алексей Николаевич вышел чуть раньше, чтоб пройти сквером. Он шел медленно, и думалось ему о том, что если действительно уйти в подполье месяца на три, то, может, стоило бы обдумать еще какие-нибудь квартирные варианты. Ну к примеру, Викину квартиру обменять на другую, аналогичную, тогда не будет этого нюанса, что Анна въезжает в ее квартиру. Он-то считает, что это ерунда. Ничего страшного нет в этом, если все делать по-хорошему. Жаль только, что ничего нельзя обсуждать с Анной, она совершенно не может вести себя по-человечески... Может, тогда с Ленкой? И тут он увидел Ленку.

Она шла впереди него с каким-то парнем, и он почти лежал у нее на плечах. Сначала Алексей Николаевич именно на это и обратил внимание – парень так изогнулся, почти лежит на плечах у девушки. Потом он опустил глаза и узнал эту сумку, что привез ей из Финляндии. Сумка оттягивала ей плечо, да еще тип этот навалился; шла впереди Алексея Николаевича его собственная дочь до

невозможности искривленная, и он остолбенело должен был идти сзади. Они шли медленно, о чем-то говорили и смеялись, а потом он увидел совсем ужасное – они курили. Он шел в пятнадцати метрах и не был в силах ничего изменить в этой ситуации. Казалось бы, чего проще: догони и выпрями дочь, и отбери сигарету, и выдай парню за хамство – висеть на девичьих плечах, но такая казалась бы простая возможность была невозможна изначально, и в этой изначальной невозможности и был весь ужас.

Он вдруг осознал, что не вправе вмешиваться в поступки дочери, но не потому, что она выросла и ее уже обнимают на улице, а потому что это право им утрачено. Как-то очень живо представилось: он все-таки подходит, пусть даже с идиотской улыбкой. Нехорошо, мол, дети, курить в вашем возрасте, а она ему, Ленка, отчетливо так отвечает: «А не пошел бы ты, папуля, подальше...» Алексей Николаевич даже медленней пошел, так отчетливо он услышал приказ держать дистанцию. Он стал думать о том, что с Ленкой у него давно никаких контактов, что она и раньше не считалась с его мнением, но, утешая себя этим, он не мог не осознавать, что право вмешиваться у него все-таки раньше было, а тут нет у него права, и все.

«Вот это и есть разбитая семья, – сказал он сам себе, – когда уже все близкие не в твоей власти».

То, что ему так легко сформулировалось, было, как это ни странно, утешающе. Значит, на самом деле конец... Вика очень удивилась бы, если б узнала, что только сейчас, медленно бредя за дочерью, Алексей Николаевич осознал, что он оторвался от семьи окончательно и летит сейчас неуправляемо неизвестно куда!

«Что же теперь делать? Что делать? – спрашивал себя Алексей Николаевич, когда Ленка с парнем миновали то место, где следовало бы поворачивать домой. Они ушли дальше, а он остановился с ощущением полного непонимания, куда ему идти. Сказать Анне, что он видел, или не говорить? Она обязательно спросит: а почему ты не вернул дочь, не затоптал сигарету? Он скажет: я ей чужой. Зачем же ты сюда пришел, спросит Анна. Иди туда где ты не чужой. Что он скажет на это? Какие-то жалкие слова – лепет! – про квартиру? (Семь квадратов! Семь квадратов!)

...Он пришел молча. Молча разделся. Молча умылся. Молча прошел в кабинет и лег под свои железки. Он ожидал, как снизойдет

на него умиротворение – так с ним было всегда на этом месте, – но умиротворения не было. Он был пуст, как выхолощенный кош, у которого уже и боли нет... Он прислушивался к этому своему новому состоянию, вглядывался в него, не мог понять, откуда пустота... Он даже обрадовался, когда в эту его пустоту ворвался посторонний звук – все-таки нечто, – это в кухне запела Анна.

Анна со страхом ждала возвращения мужа с работы. Ну явится с шумом, закричит на нее с порога: «Эх ты! – скажет. – Баба! Звонки устраиваешь!» Какие не придумывала она ответы на такое его заявление, убедительно не получалось.

Кто знает, как там отнеслись на его работе?! Могли все дружно осудить ее, а его пожалеть и защитить. Конечно, квартиру она ему все равно не отдаст, пусть сам уходит, но сознание, что так именно и может все случиться, а главное, ничего больше, чем звонок в партком, ей уже не сделать, значит, быть ей одинокой до гробовой доски, а это страшно, страшно, – так вот сознание всего этого было таким мучительным, что Анна молила Бога: скорей бы он пришел и все определилось бы сразу.

Алексей Николаевич пришел молча. Он не кричал на нее, не топал ногами. Он так тихо мыл руки, самой тоненькой струей воды, что она выключила на кухне радио, чтобы слышать его почти бесшумный плеск. Он прошел в кабинет и лег, но лег не так, как ложился обычно, по-хозяйски бухаясь на подушки, и тогда всегда звякала одна из его железок. Нет, на этот раз он лег так тихо, как будто в нем не было веса.

И этот бесшумный, невесомый мужчина был настолько нестрашен и настолько безопасен в будущем, что у Анны растопился комок, и она, даже не ожидая от себя такого, запела.

...Когда-то давным-давно у нее был неплохой голос, а по нынешним микрофонным временам просто хороший. Она запевала в институтском хоре, выступала и с отдельными номерами. Она слушает сейчас многочисленные ансамбли и просто в ужас приходит от безголосости поющих в нем девочек. Ее выводит из себя как они стоят, покачиваясь, и только открывают рот, чтоб в одном-единственном

месте вступить по-настоящему, снять одну-единственную музыкальную фразу, на большее их не хватает. У нынешней песни нет голоса. Так считала Анна. И именно с ее точкой зрения считалась даже Ленка, потому что сама она в свои «хорошие минуты» могла показать, как бы можно было это спеть. В такой момент она становилась молодой, красивой, одухотворенной, и однажды в нее такую влюбился один человек из случайной компании. Никто об этой его любви не знал, а Анна в первую очередь, просто увидел мужчина поющую прекрасную женщину и понял, что все остальные гроша ломаного рядом с ней не стоят, и носил этот Аннин образ много, много лет. Что бы ему об этом сказать Анне? Но так как он не сказал, то к этой истории он имеет отношение только как деталь, дающая представление о том, как хороша могла быть женщина, если бы ей вовремя об этом сказали.

Анна пела в кухне какую-то немудрящую мелодию, пела и успокаивалась. Пока все ее ходы были, на ее взгляд, и разумны, и правильны. Алексей не стал кричать, как кричал тогда, когда все началось из-за полов. С ним, видимо, побеседовали, и он испугался, что совершенно естественно. Что бы там ни говорили о том, что теперь в эти дела не вмешиваются, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.

Вот так подумала Анна и даже представила себе, как через какое-то время шутливо скажет об этом Алексею. «Эта мудрость, – пошутит она, – на все случаи жизни годится и на наш сгодилась тоже». Мирное завершение всей истории казалось ей не просто возможным – неизбежным. Не пойдет Алексей ни на какую конфронтацию, не такой он человек, и она перестала петь и прислушалась к невесомому бесшумному мужу. В кабинете было тихо. И тогда Анна взяла тряпку для пыли и смело пошла, мурлыкая что-то под нос. Алексей лежал на боку, подложив под голову руки. Он закрыл глаза, когда вошла Анна, – вот и вся реакция. Никаких «уйди», «не заходи», «не трогай». Она вытерла пыль на письменном столе, подоконнике, журнальном столике. Следующим в этом обычном ритуальном действе были «погремушки» на стене. Обычно она становилась прямо ногами на диван и вытирала их, но не станешь же это делать при лежащем муже? Она потопталась и пошла к двери, но на секунду задержалась.

– Тебе нехорошо? – спросила она.

Алексей не ответил. Собственно, ответа она и не ждала, но было что-то в позе мужа такое жалкое и незащитное, что хотелось чем-то ему помочь, что-то для него сделать. Что она, зверь какой-то? А то, что он промолчал, тоже естественно и понятно, ему предстоит вернуться из этого путешествия, которое Анна тут же, на пороге кабинета, с ходу окрестила: «обмен жены». Анна удивлялась этой своей способности сразу придумывать определения и иронизировать. Это прекрасное качество в той ситуации, в которую она попала. Правда, тут же вспомнилось, как она рвала кофточку и бросалась стаканом. Ну что ж, она женщина, значит, может быть в чем-то и непоследовательной.

Очень легко и просто подумалось и о том, как объяснить все в учительской. Элементарно. Эта инспекторша довела ее до психоза, сказала ей про ее вид, задела за самое женское, ну вот именно оно – женское – в ней и прорвалось. То, что когда-то показалось в отношениях с Алексеем, выросло до размеров угрожающей реальности, она и бухнулась в истерику. Но все равно она благодарна всем, всем, всем за участие и за звонок. Там, в парткоме, тоже, конечно, не идиоты, никакой истории из этого не сделали, а с Алексеем поговорили, чтоб был осторожен с разными разведенными дамами. «Знаете, какие они там лихие, в мире газет и журналов? На ходу подметки рвут». Анна настраивала себя на хорошее. Всегда надо так: что сам выработаешь, в том и будешь жить. Она и в школе такая – спокойная и невозмутимая. И генерирует такую же обстановку в классе, а все спрашивают: как у вас получается, как получается? Очень просто. Ничего не будет плохого, если ты настроишь нервы, все мысли на то, что плохого не будет. И, наоборот, беду можно накликать одним опасением, что она придет. Ты о ней подумал – как позвал, она и явилась к тебе званая. Анна и Ленке с детских лет повторяет: не думай о плохом, не думай о плохом.

Сейчас, выйдя из кабинета, Анна даже пожалела Алексея в его какой-то утробной позе. Что ни говори, мужики – народ беспомощный. И слава Богу! Может, именно это их качество и создает какое-никакое равновесие в мире. А так бы уже давно была война или еще какое-нибудь безобразие. Спокойно и надежно для человечества, когда они вот так, скрючившись, лежат на диванах под своими игрушками. Но в том, что так лихо, цитатно философствовала Анна, было нечто, что тем не менее начинало ее тревожить. Пока она усиленно думает о хорошем

– все в порядке. Стоит же на секунду отвлечься – и будто что-то в ней вспыхивает и начинает болеть, болеть... Нет, надо во всей этой истории ставить точку, осязаемую, окончательную... Придет Ленка, она возьмет ее за руку. Они зайдут к Алексею и скажут: «Дорогой ты наш! Мы не с улицы. Мы твои жена и дочь... Не надо нас мучить... Давай все решим – раз и навсегда».

Но разве дождешься Ленки, когда она нужна? Противная стала девчонка, и, видимо, покуривает. Они все сейчас сигаретами балуются, но Анна к этому относится спокойно. К Ленке это не пристанет. Не будет ее Ленка ни курящей, ни пьющей, ни гуляющей. Она побродит по краю всех жизненных соблазнов и уйдет в сторону. А то, что по краю походит, не страшно, а в чем-то, может, и полезно. Она, Анна, по краю не бродила, и такая в ней просыпалась временами тоска по чему-то неизведанному. Не такая, конечно, тоска, чтоб жить не хотелось или чтоб твоя собственная жизнь показалась никудышной, нет! Но вот иногда идет она по улице, а рядом затормозит машина и выйдет из нее женщина в каком-то невероятном наряде и простучит мимо каблучками, а ты со своими пудовыми сумками-авоськами посмотришь ей вслед и станет тебе тошно. Ее, Аннина, бабушка-покойница говорила ей в детстве о счастливых людях: «Ай, никакого секрета... Они в детстве дерьмо ели». Вот и Анна провожала глазами этих ирреальных женщин нашего времени, без тяжелых сумок, без стрелок на колготках, без этого иссушающего мысль и плоть вопроса в глазах – где и почему, провожала и думала: в детстве они дерьмо ели. Почему-то это утешало. Успокаивало. Она вот не ела, и Ленка ее, увы, не ела тоже. Поэтому побродит, побродит Ленка по краю Греха и вернется в праведность, к сумкам, пеленкам, общественному транспорту... Правда, машину с отца она хотела требовать... Не такая уж вздорная мысль... Надо будет, когда кончится вся эта история, взять и купить им машину. Влезть в долги, как все делают, и купить. И у Алексея будет дело, и Ленке будет приятно, и Анна выйдет когда-нибудь из машины и процокает мимо какой-нибудь замороженной тетки и станет для этой тетки минутной тоской по неизведанному благополучию. Это чувство надо испытать сейчас, пока машин еще мало... А то наделают скоро, как холодильников. Чем тогда люди будут гордиться? Анна ходила по комнате, искала дело. Не то чтоб его не было... И тетради непроверенные лежали, и белье в тазике кисло, и

пуговицы кое-где надо было закрепить, потеряешь в автобусе за милу душу, но ничего не делалось, и вспыхивала, вспыхивала в ней тревога.

Ленка же домой не собиралась. Она несла на плечах своего приятеля, и ей было легко. Ей нравилось так идти, куря, обнявшись, плюя на общественное мнение, и дорогу мимо дома она выбрала не случайно, а намеренно: хорошо, чтоб кто-нибудь видел ее такую... Ленка давно решила, что ее жизнь не должна быть похожа на жизнь родителей. Что угодно – только не это. Сначала ее выводила из себя их физическая терпимость друг к другу, смотреть по утрам противно на них, какие они лежат в постели, но потом она пришла к выводу, что так у всех. С ужасом представила свою будущую жизнь, свою и дочь, которая станет на нее смотреть. Решила: так не будет. Как – она не знала, но уж непременно никаких общих одеял и подушек. Никогда и никаких. Потом, когда на ее глазах такая устойчивая, притертая друг к другу пара, как папа с мамой, стала разваливаться, она поняла, что была права, когда возмущалась их привычками и видом, права тысячу раз – вот вам и результат: папа бежит от мамы. «Ну что ж, – сказала себе Ленка, – теперь никто никогда не посмеет мне помешать исповедовать свои принципы, Я буду жить так, как мне нравится, а не так, как у них принято, Я еще не знаю, чем это кончится, – философски размышляла Лен – но у моих-то кончилось плохо. Конечно, жалко их, потому что они даже развестись путем не могут. Базарят из-за квартиры, будто она не квартира, а какой-то райский остров. Ну что стоит отцу собрать чемодан и уйти – порядочно и по-мужски? Ну что стоит матери взять зубную щетку и хлопнуть дверью – красиво и по-женски? Ну что стоит одному из них подняться над всем, а они тянут за углы одного одеяла». Никогда в жизни не допустит она, Ленка, этого одного-единственного одеяла. Нет средств на два, живи одна. Вот так формулировала свое жизненное кредо Ленка. Конечно, лучше всего ехать на машине в никуда, но этот вариант у нее не получится – это роскошь... Значит, надо ориентироваться хотя бы на два одеяла. Но это потом. Пока же – свобода, Свобода поведения, свобода выбора, свобода настроения. Никаких – ты обязана, так

принято, твой долг, так надо.» Никаких... Она никому ничего не должна. Это первое, второе и третье... Она слышать ничего не хочет об ответственности, потому что не признает ни за кем права что-то на нее возлагать. Она никому не хочет быть благодарна, потому что ничего она не просила. Бели ее родили для того, чтобы нагрузить предрассудками, в которые она не верит, то она готова объявить войну или умереть. Она поживет свободно и самостоятельно и сама выберет обязательства и долги. А может, и не выберет* Ничего она не хочет от палы и мамы, никаких принципов, никаких идей, никаких руководств к действию... Если имеется в виду, что вся эта их идеология – приправа к куску хлеба, так ей и хлеба не нужно. Кончит школу – и только ее и видели. Заработает себе чистый, не сдобренный советами обед, а завтракать и ужинать вредно. Вот какая раскованно-наглая дочь шла тогда впереди Алексея Николаевича, вот какая дочь не приходила домой – и это было слава Богу, потому что Анна ждала помощницу и союзницу... «Мы не с улицы... Мы твои жена и дочь...»

Алексей Николаевич лежал тихо и обреченно. Когда Анна пришла вытирать пыль в кабинет и ходила вокруг него спокойно и хозяйски, а потом – он ждал! – должна была встать ногами на диван, чтобы вытереть железки, он был готов к этому, потому что ощутил вдруг впервые и окончательно, что никакого обмена не будет. Никуда не уйдет Анна, это ее гнездо, а у него не хватит сил вырвать ее из него. И есть единственный выход решить все их проблемы – уйти ему с чемоданом. Как ушел Федоров. И все будет хорошо и покойно, и никто ничего не скажет о нем плохого, со временем они поменяют Викину квартиру на другую, чтоб никаких федоровских воспоминаний... А кабинет – что кабинет... Сегодня он ему не помог... Пришел, лег, и все при нем осталось. Надо сказать это Вике, прямо сейчас он ей позвонит и скажет: «Я беру такси и приезжаю навсегда». И он встал. Телефона в кабинете не было, шнур вился по полу, и по нему надо было найти телефон. Почему-то эта процедура – поиски телефона – представилась Алексею Николаевичу тяжелой изнурительной работой. Дверь, например, открывалась с трудом, и Алексей Николаевич подумал, что

дом старый, а процесс оседания все еще продолжается и притолока искривилась. Он открыл все-таки дверь и пошел по шнуру дальше.

Вика: была очень обижена на Алексея Николаевича. Почему он так себя ведет, будто она в чем-то виновата? Разве во всей их истории она не самая большая страдальца? Ведь только ей грозят разного рода неприятности.

Во-первых, могут не принять в партию. Это для нее катастрофа. Это значит никогда не выбиться ей из рядовых корректоров и ослепнуть в конце концов на этой чертовой работе. Да и вообще потянется за ней дурная слава, хоть ни в чем она не виновата. Придется трубить в таком своем состоянии до пенсии. Вот почему она так его просила потерпеть и не решать никаких вопросов, пока все у нее не решится.

Ну, ладно, пусть Анна дозналась. Все тут не предусмотреть. Но неужели он не мог все поставить так, чтоб не смела она трезвонить в партком. Должен же он был где-то стать плотиной на пути неприятностей, которые теперь на нее повалятся. Ну, ладно. Не встал. Вика давно знает, что не тот Алексей человек, чтоб быть кому-то или чему-то плотиной. Он слабый, он беспомощный. Но это для нее никакое не открытие, она давно это знает. Собственно, с этого-то все и началось – с его слабости, мягкости. Она к нему именно к такому потянулась, потому что сильным была сыта по горло. Она знает, как бывает у сильных. Они все перекусывают зубами и сразу! Федоров, нос шляпкой... Он хоть на минуту задумался, что нехорошо, непорядочно бросать женщину? Ему это и в голову не приходило. Сильным вообще мысли приходят реже, она это заметила. Способность перекусывать заменяет им некоторые мыслительные процессы. Федоров перекусил свою так называемую творческую работу. «На пса!» – сказал и ушел «украшать землю картоном». Потом – наверное! – так же сказал о ней и ушел, вернулся в холостячество. И разве можно было как-то этому противостоять? Ах, как ей люб стал Алексей Николаевич, совершенно неспособный ничего перекусывать. И они так все хорошо придумали с Анной, чтоб не было у той

ущемления, не было у нее чувства страха. Ну не вышло. В конце концов, и это можно предположить: нормальная баба, не хочет терять и мужа, и трехкомнатную квартиру сразу.

Это Вика, балда, судила о ней по Алексею, а надо было думать, что Анна – нормально расчетливая женщина. Конечно, для Алексея, для его самолюбия плохо, если он переедет в квартиру Федорова, но ведь дает ей тетка деньги? Дает! Вот их и надо будет пустить на обмен. И поменять меньшую на большую, и пусть Анна подавится их квартирой. Во всяком случае, тогда у нее уже не будет никаких оснований для претензий. Если разобраться – это все-таки лучший вариант. Она, Вика, наверное, и сама бы до него додумалась, начнись все несколько неожиданно. Так что если разобраться в ситуации и фактах – ничего безысходного нет, а наоборот, мудрая жизнь сама так расставила фигуры, что у них оказался один-единственный выход, но он во всех нравственных отношениях лучший, и если они так поступят, то у нее может быть все благополучно на приеме, никто ни в каком расчете ее не обвинит. Алексей же ведет себя как-то не так. Вот, например, сегодня смылся. Им бы сейчас объединить и свои мысли, и свои силы, и свою – черт возьми! – любовь, а он бежит к себе домой, как в нору, дурачок такой. Как он не понимает, что теперь его нора там, где она, Вика. Она решила позвонить ему вечером и сказать об этом. Был у нее зарок – в этот период не звонить ему домой, а тут она нарушит зарок, позвонит и скажет: «Твоя нора дурачок, там, где я!»

Так она думала на политзанятиях, глядя прямо в глаза лектору, и столько в этом ее взгляде было искреннего чувства, что лектор рассказывал о событиях в Африке только ей и думал о том, что этой вот отзывчивостью ко всему сущему на земле обладают только русские женщины, – посмотрите на эту, как слушает и как страдает. Уходя, он особенно благодарно поклонился Вике, она очень этому удивилась, а потом решила, что это очень, очень хорошо, если он ее из всех выделил, запомнил. При случае можно у него будет в будущем отпроситься с лекции, и он ей не откажет. Вечером она совершала свой обычный пострабочий ритуал – булочная, молочная, галантерея. В булочной ей повезло – были рижские батоны, и она взяла сразу три, имея в виду, что Алексей не сегодня-завтра, а должен будет к ней переехать окончательно и бесповоротно. В молочном магазине тоже удача – были в продаже глазированные сырки и фруктовый кефир, а у

выхода из магазина торговали штучными сосисками. В галантерее к прилавку вилась очередь, а к верхней витрине английской булавкой был приколот и болтался как флаг на корабле серебристый импортный бюстгальтер. Вика встала в очередь. Она поступила так скорее инстинктивно, чем по необходимости. Лифчиков в ее обиходе было много – и белых, и розовых, и телесных. Серебристых, правда, не было. Она стояла и думала, что, в сущности, он ей ни к чему – серебристый. Цвета и оттенки имели значение раньше, при Федорове. Вот уж кто умел любить глазами. Он ставил ее и ходил вокруг, кладя ей на плечи разные тряпки, и она, как манекенщица, должна была то сгибать руку, то ногу в колене, то закидывать голову назад, а то опускать ее к самому желудку. Интересно, проделывает ли он эти штуки со своей математической мышкой? Обряжает ли ее, как обряжал Вику: «Ну-ка, ну-ка, Клотильда, убери зеленый цвет, он тебя мрачит... Феня, запомни, ты женщина холодная, тебе себя надо утеплять желтеньким... Повернись, повернись... Вот так! Знаешь, ты слева красивее... Поворачивайся к нашему брату левой стороной». Она тогда думала, это игра. Ей было даже интересно. Сейчас понимает: разве можно членить на левую и правую сторону, когда любишь? Это же были сигналы бедствия, а она поворачивалась, вертелась и думала, так и надо. Он – художник, он любит глазами. Алексей совсем другой. Она проделывала с ним эти штуки с одеванием-раздеванием, он терялся и смущался, а главное, ни черта не понимал ни в зеленом, ни в желтом. Не видел он, что ее мрачит, а что веселит. Поэтому, положив в сумочку серебристый лифчик, Вика вздохнула: десятки как не бывало, а она ведь собирается в долги влезть. «Кто-нибудь у меня его купит, если что... – решила Вика. – Я не буду отрывать пока ценник».

Шнур от телефона был бесконечным. Наверное, поэтому Алексей Николаевич вполне ушел сформулировать мысли в слова, которые он сейчас скажет Анне. «Я веж себя, Анюта, как последний... Конечно, ты должна здесь остаться... И говорить нечего... Ты собери мне мое, а коллекция пусть пока повисит. Ты вытирай с нее пыль...»

В коридоре не было света, только узкая полоска: под дверью кухни... Такое в его жизни уже было – темный коридор: и полоска света. Как он мог забыть то, что многие детские годы определяло его жизнь? Впрочем, ничего удивительного; он забыл то, что хотел забыть. Это проклятый шнур привел его к воспоминанию.

...Ему семь лет и это 42-й год. Он встал ночью в, уборную и вышел в темный, заваленный, заставленный, пахнущий кошками, газом, рабочими спецовками и резиновыми сапогами коридор. Под дверью, куда ему надо было зайти, белела узенькая полоска света. Он присел на чей-то ящик, чтоб подождать. Было холодно, хотелось спать, но кто-то основательно поселился в уборной. Тогда он встал и деликатно постучал в дверь, потому что «это коммунальная квартира, а не личные апартаменты». Так всегда говорил их сосед, стуча в ванную, уборную, снимая с конфорок чьи-то закипающие кастрюли, выпрямляя велосипедные спицы под чьей-нибудь дверью. Если сосед говорил «апартаменты», это значило, что кто-то очень распустился, и полагалось стучать, снимать, указывать, жаловаться, потому что не апартаменты. Слово это было ругательством, как, например, проститутка. Вот почему Алексей Николаевич семи лет постучал тогда в закрытую дверь. То, что постучал деликатно, было издержкой его домашнего воспитания, в котором вежливость считалась качеством положительным. За дверью не прореагировали, и он продолжал ждать. Было холодно, дуло, и он прижался к чьей-то вешалке, просто зарылся в чьи-то душные вещи. Стало тепло, и ему приснилось, что он попал наконец за эту запертую дверь.

Чего стоит наша деликатность? Постучи он тогда громко, кто-то бы обязательно услышал: какой сон в 42-м году? И вышел бы, и тогда, может, помогли бы тому человеку, что умирал в таком неподходящем месте от инфаркта или инсульта – не очень вникали отчего, – и он бы, мальчик, не уснул в этой согревшей его вешалке и не случилась эта беда, этот скандал на всю квартиру, весь дом, весь квартал. Он испортил фетровые боты и новые галоши с мягким малиновым нутром, они так вкусно пахли, эти галоши, пока он не

уснул; ему даже хотелось их полизать. Ему всегда почему-то хотелось лизать новые галоши.

К нему прицепилась обидная кличка, и был период, когда он больше всего на свете хотел умереть. Но потом уехал мальчик, который

особенно изощрялся в жестоких дразнилках, мать выплатила стоимость испорченных бот и галош, и Только сосед, тот, что говорил про апартаменты, клал время от времени на плечо Алексея Николаевича руку и говорил ему то самое слово. Он даже не хотел обидеть, сосед, он считал это нормальной добрососедской шуткой. Как Алексей Николаевич ненавидел эту квартиру, как ненавидел! Ненавидел и боялся этой вынужденной общности жилья, этого вывернутого для чужого обозрения личного, интимного – лифчиков, трусиков, зубных щеток... Какое счастье, что это все в прошлом! И Алексей Николаевич, идущий целенаправленно по шнуру к телефону, просто не мог не завернуть в ту сторону, в личный туалет. Он сел без нужды на белый стульчик. Просто так. Тот человек в сорок втором году сидел, прислонившись головой к стене, бедный человек! Сам умер и мальчику испортил детство. Как это должно быть ужасно – быть причиной детского горя.

Алексею Николаевичу вдруг послышалось, что кто-то деликатно постучал, поцарапался в дверь. Он сделал попытку встать, чтобы сказать, что он здесь просто так, «разыгрывает воспоминания в лицах», но встать почему-то было трудно... «Как я устал», – подумал он...

Анна стояла в кухне и прислушивалась. Сначала, когда Алексей вышел из кабинета, она решила, что он идет к ней... в кухню, и, наверное, сейчас и состоится самый главный, самый важный разговор. Жаль, нет Ленки. Они бы сели и поговорили один раз. Все самое главное в жизни человека бывает один раз. Она, Анна, знает это точно. Все, что во второй раз, – вторично. И если бы тут была Ленка, мог бы состояться тот самый разговор, что раз и навсегда. Но этой негодяйки нет, значит, будет у них разговор на двоих. Ну что ж... Она готова. Она готова защитить и себя, и Ленку, и его – если уже на то пошло – дурака.

Что ему надо? Женщину? Хорошо, она ему объяснит, когда у него весь интерес к новому телу кончится. Она знает его как облупленного., Она помнит, как. он приехал однажды к ней с юга и привез некоторые

нововведения. Она ему сказала: «Да ну тебя» и видела, как он обрадовался, что ничего не надо менять в раз и навсегда заведенном порядке. Она тогда даже не сочла нужным вникать, откуда у него знания, где он их нашел. Он обрадовался возможности их не использовать. Она ему это скажет, если дойдет до этого. Вот когда хорошо, что Ленки нет...

Алексей зашел в туалет, и это удивило Анну. Он же к ней шел, это бесспорно, она знала, чувствовала. «Подождем! – сказала она себе. – Подождем!»

Не будь Вике присуща скрупулезность и тщательность во всем и позвони она Алексею Николаевичу сразу, когда пришла домой, она бы застала его в коридоре и, возможно, вынула бы его из воспоминаний сорок второго года. Но она все делала, как она. Она пришла домой, протерла до блеска обувь и поставила ее на колодку. Потом она вытерла лосьоном лицо, руки и пошла на кухню. Там она аккуратно все разложила на полках в холодильнике и села «раздевать» сосиски: она терпеть не могла, когда они в целлофане. Потом она нашла красивый пакет и положила туда новый лифчик. Если придется продавать, пусть это будет хорошо выглядеть. Только после этого, поставив на конфорку чайник, она набрала номер телефона.

Анна вздрогнула. Телефон стоял рядом, на кухонном столе, а она давно заметила: в кухне телефонный звонок звучит особенно резко. Наверное, от обилия этих чертовых полированных полок звук ударяется об них и бывает особенно неприятен... Анна взяла трубку и поняла, кто это.

– Будьте добры Алексея Николаевича, – попросила Вика, удивляясь, что трубка снята мгновенно, но не Алексеем. Он ей говорил, что вечерами он берет теле-

фон к себе, на тот самый случай, если она позвонит. «Она у него в кабинете», – подумала Вика.

– Алексей Николаевич отдыхает, – ответила Анна. В какую-то секунда она решила, что сейчас скажет Вике что-то очень определенное, но тут же отказалась от этой мысли. Скачала надо поговорить с Алексеем.

– Извините – сказала Вика и повесила трубку. «Позвоню попозже – подумала она. – Наверное, он на самом деле уснул... А эта что же? Сидит с ним рядом? Да нет! Просто она взяла к себе телефон, а он спит и не знает об этом...» Вика решила позвонить через час и заметила время.

Анна прислушалась: Алексей должен был услышать звонок и прибежать, если он звонка ждет. Но он не поторопился. Значит, не ждет... Или... Или ему надо, чтоб Анна взяла на себя все и ответила этой женщине, что он отдыхает? И будет отдыхать завтра и послезавтра... Всегда, для нее... Так просто и гениально. И Анна еще раз прислушалась, но было тихо. Тоща она встала и вышла в коридор. Дверь в туалет была не закрыта, свет там не горел, и первое, что Анна подумала, было: она не слышала, как он вернулся в кабинет. «Прокрался как!» – недобро усмехнулась она, чувствуя, как начинает в ней подыматься гнев. Еще бы! Она ждала его для разговора, он обязан был прийти, не мальчик же он, черт возьми, чтобы уходить от главного. А он прокрался, прокрался, прокрался...

Она пошла в кабинет, потому что все: кончилось молчание! «Звонила та... Что ты себе думаешь?!» Неожиданно ей пришло на ум слово, гадкое, бранное, когда-то в детстве им дразнили Алексея. Ей рассказала эту историю его мать, когда однажды они попали на дешевую распродажу галош. Это было время когда все уже перешли на микропорку, галоши объявили вчерашним днем, и тогда в универмаге на Каланчевке их стояла тьма-тьмущая ипряно, остро пахло резиной. Вот тогда свекровь почему-то заплакала и рассказала ей историю которая была в сорок втором году. «Только никогда, никогда Анечка не говори об этом Леше... Я уже казнюсь что тебе рассказала... Но их так

много этих проклятых галош, а мы тогда не знали, как вывернуться, чтоб расплатиться... А тут еще эта хиичка». Какой ужас эта война – не только в большом но и в малом».

Конечно, она ничего не сказала Алексею. Сколько лет прошло – не сказала. А тут это слово повисло на кончике языка, не было сил его сдержать и она, распахнув дверь в кабинет, крикнула:

– Ты!...!

В кабинете никого не было.

Слово догнало Алексея Николаевича прямо в самом конце его пути, когда он выбрался наконец на прямую и хорошую дорогу, вскарабкался и вздохнул – ни впереди, ни с боков уже не было ни пригорков, ни колдобин, великолепный светлый путь для неспешного хода порядочного человека. «Наконец-то, – подумал он. – Выход всегда должен быть таким прямым и светлым...» И тогда он услышал это слово. Он поднял руки, чтоб закрыть уши, и упал лицом вперед на квадрат пола.

Вика позвонила ровно через час. Занято, занято, занято. Она села на диван, поставив телефон рядом, и стала набирать номер сначала через десять минут, потом через пять, потом все время без перерыва. Было занято, а диск сломался.

Анна не закричала, не испугалась, не удивилась. Пик всех ее мыслей, эмоций кончился тем самым словом, которое она бросила в мужнин кабинет. Она была пуста, разрежена, и все, что в ней могло возникнуть, начиналось теперь с нуля. Тем своим криком Анна кончилась. И теперь начиналась снова. Она вытащила из уборной Алексея Николаевича и положила его в коридоре на пол. Сбегала за подушкой и положила ему под голову. Потом стала делать искусственное дыхание. Вспомнила – подушка в этих случаях не нужна – и убрала ее. Она истово выполняла все необходимые движения, и, хоть никаких признаков жизни Алексей Николаевич

не подавал, никаких сомнений в том, что он жив и будет жить, у Анны не было. У него простой обморок.

Так как все мысли и эмоции Анны были начальны, то она уже забыла и про крик, и про то, что ждала разговора, она просто была уверена, что никакого разговора теперь уже и не потребуется, что сейчас он придет в себя, и она отведет его в их общую спальню. Уложит и скажет: «Кабинетная эпоха закончилась». А Ленку она срочно переведет в кабинет... под предлогом шума. Ее комнатка как раз рядом с лифтом, и девчонка-десятиклассница спит под грохот открывающе-закрывающихся дверей. Не дело. Анна продолжала делать искусственное дыхание изо рта в рот, когда пришла Ленка. Вот она и закричала, и испугалась. И стала звонить в неотложку, вопя на мать, что та до сих пор этого не сделала.

– У него спазм, – сказала Анна. – И у меня был в школе. Отошло...

Вика починила диск. Она умела действовать плоскогубцами, отверткой, сама чинила утюги и пробки, сама меняла лампы в приемнике и прокладки в кранах. Поэтому со скрипом, медленно, но диск все-таки стал у нее поворачиваться, и она сумела набрать номер. К телефону никто не подошел. Можно было что угодно представить за невыразительными гудками: орет телефон, а они все – втроем – ждут, кто к нему подойдет. Если так, то значит, что-то было до того, какая-то ситуация, после которой к телефону не подходят.

Представилось и другое: Анна с мясом вырвала проводку у телефона после того ее звонка. И теперь она может звонить туда до посинения...

– А может, совсем другое? Идиллическая семья пошла пить к соседям чай, сидят, прихлебывают, говорят об Иране, нефти, а она тут – идиотка с отверткой.

«Скорая» приехала через десять минут. Анна дышала, как паровоз, Ленка тихонько, как побитый щенок, повизгивала, Алексей Николаевич лежал на полу в коридоре. Врач не задержался возле него, а велел сделать укол Анне, потом куда-то позвонил, потом Алексея Николаевича накрыли с головой.

Вика задремала с телефоном на руках. Ей снилась гадость – чаепитие у соседей Алексея. У всех губы в глазированных пряниках, крошки блестят и сыплются. Блестят и сыплются... Будто и она пришла. И ей тоже дали пряник, но самый твердый, самый каменный. Дали и смотрят, как она будет от него откусывать.

– Это бессмысленно, – сказал врач. Но Анна была так решительна, что он не стал с ней спорить. Пусть съездит. Будет знать, откуда забирать...

...Вика не стала откусывать от пряника, а положила его назад, в тарелку. Положила с вызовом, громко. Так громко, что проснулась – в руке телефонная трубка, и она держит ее на рычаге. Снова набрала номер и снова никто не подошел. Она поставила телефон на место, отнесла отвертку в ящик для инструментов и пошла стирать замоченные платки. Почему-то ей стало казаться, что на этом все у нее с Алексеем и кончилось. Это было глупо, потому что вывод делался из ничего: разве звонки без ответа можно принимать в расчет? Но думалось ей о конце. Тогда она сказала себе так: несчастья не предугадываются, они сваливаются на голову...

«Ничего, ничего я не могла себе представить тогда, когда уходил Федоров. Я сидела и обуживала ему рубашки, а он сказал: «Не надо». – «Надо! Надо! – сказала я. – Теперь не носят широкие!» А он снял с антресолей громадный чемодан и стал застилать его внутри газетой. «Зачем он тебе? – спросила я. – Мы же потеряли от него ключи». – «Неважно», – сказал он и стал складывать туда свои обуженные и необуженные рубашки. Я же продолжала сидеть, совершенно ничего не предполагая. Я даже сказала ему, что чемодан такой большой, что нет у него такого количества рубашек, чтоб заполнить его хотя бы вполовину. Федоров вздохнул, потом подошел ко мне и сел напротив. «МНCS жаль, – сказал он, – но давай выживем достойно, а?» До меня и тут не дошло, то есть дойти-то дошло, я просто не верила... В общем, это было как снег на голову. Несчастья приходят только так...»

Анну и Ленку привезли обратно тоже на «скорой»: был вызов в соседний дом и их взялись довести. Бригада была другой, молодой, веселой, все грызли яблоки. «Вас где скинуть?» – спросил шофер. Анна не поняла вопроса, ответила Ленка. «Гоп! Гоп!» – поторопил их шофер, когда Анна вдруг замешкалась в дверях. Ленка просто потянула мать за руку.

– Идем! – сказала она ей строго. – Идем!

«Нет! – сказала себе Вика. – У них что-то с телефоном, а я распустила нервы...» Она повесила платки, смазала руки кремом и подошла к телефону.

– Да! – услышала она резкий голос Ленки.

– Простите, – сказала Вика, – за поздний звонок. Алексея Николаевича можно к телефону?

– Папа умер, – ответила Ленка. – Алексей Николаевич умер, – повторила она.

Анна решила хоронить мужа из дома. Ей очень советовали это не делать, и хлопотно, и накладно, и неудобно, а главное – давно никто так не поступает. Хоронят прямо из моргов – быстрее и проще. А тут ей издательство предлагает панихиду в клубе, с караулом и прочими атрибутами, у них все это есть, не первый покойник и не последний, увы. Но Анна уперлась: из дома. И никаких караулов, муж умер, а не генерал.

В ту первую ночь, когда Ленка вытащила ее за руку из «скорой», а потом властно привела домой, раздела и уложила, Анна все и решила. Сначала она лежала и ничего не понимала. Лежала, как срубленное дерево, которое еще и дерево, но уже и дрова. Ничего не было – ни мыслей, ни чувств, была физическая ноющая боль в мышцах, и это одно только и было признаком жизни. Потом Анна услышала телефонный звонок и дважды повторенный ответ Ленки. И тогда информация, предназначенная другому человеку, каким-то рикошетом вернулась к ней, прошла сквозь ноющие мышцы и пробилась в сердце. Это было настолько очевидно, что Анна прямо почувствовала, как толчками восприняло сердце слова, сказанные в соседней комнате. И как только ожило сердце, она усвоила информацию во всем ее объеме – не только, что было сказано, но и кому. И первое, что Анна испытала, было удовлетворение. Потом, рассказывая подругам о событиях этой ночи, она говорила об этом звонке и о своих ощущениях иначе: был, мол, звонок, и ей даже стало жалко ту, бедную женщину. Но что там говорить – Алеша никуда бы не делся из семьи, это стало ясно в тот вечер...

Так Анна говорила потом. А первым чувством ее было удовлетворение. Она даже немножко застеснялась его, и все это вместе – торе, удовлетворение, смущение, мышечная боль – сделали свое дело, и Анна пришла в себя. Тут же она увидела, что лежит в кабинете, на Алексеевом месте, куда ее положила Ленка. Анна вспомнила, как часа два-три назад заходила сюда вытирать пыль, а с коллекции не вытерла, «Надо будет вытереть», – подумала она.

И вот тогда она и решила, что хоронить его будет из дома. Человек должен уходить из дома, из стен, где он жил, дышал. И Анна мертво вцепилась в эту мысль. Что бы там ни говорили – он будет лежать здесь, и сюда пусть приходят люди, и отсюда его понесут. Это его дом, он им дорожил. Она встала и пошла к Ленке. В ее комнате было

накурено, а сама Ленка уснула не раздеваясь. Откровенно валялись сигареты и спички. Анна собрала их и унесла в кухню. Телефон все так же стоял на столе, Анна набрала номер подруги, сказала ей обо всем и попросила сшить ей черное платье. У нее, у Анны, будто случая дожидался, лежал кусок черного крепдешина еще старых времен. Подруга охнула, ахнула, предложила тут же приехать, но Анна сказала: «Не надо. Вот утром надо приехать пораньше, чтоб снять мерку для платья...»

– Я прямо в шесть утра, – сказала подруга. – Прямо в шесть.

Вещи оставались вещами. И с ними ничего не произошло. Трубка привычно лежала на рычаге, часы отбивали свое, видимо, только им и нужное время, все стояло по местам, светясь и отдавая тень, и в этой неизменности было такое равнодушное величие, что Вика почувствовала неукротимую тошноту. И то, что ее тошнит в такой момент, было настолько неожиданно, что все ее мысли и чувства сбились в кучу перед этим неэстетичным действием. И фраза: «Он умер, а меня тошнит» стучала, стучала в виски. Вика не знала, что таким именно образом она спасалась от беды. А может, именно так... ее спасал Бог? Ведь надо же было потом ей мыть раковину, и чистить зубы, и полоскать рот, и все это нельзя было бросить, потому что – как же это бросить? И она сделала все, и быстро оделась и выбежала на улицу. Такси довезло ее до дома Алексея очень быстро, она даже не успела понять, зачем едет.

Когда они затормозили у подъезда и Вика полезла за кошельком, она вдруг поняла, что войти в дом все равно не сможет. Она испугалась, что у нее опять начнется то, что было дома...

– Назад! – закричала она. – Едем назад. Шофер всем телом повернулся к ней, очень уж ему

хотелось сказать приличествующие моменту слова, например: «А ты меня запрягла, чтоб погонять? Я тебе что, муж-любовник? А ну рви отсюда ногти, дама-девушка». Так он хотел сказать и предвкушал радость победы сильного над слабым. Но он ничего не сказал; увидев белое Викино лицо, он повернул покорно и подумал, что «Скорая

помощь» остается у него слева по курсу, не пришлось бы в нее заворачивать. «Жизнь, – мысленно философствовал шофер, – жизнь... Кричит, а сил у бабы нет... Те, у кого сила, не кричат...»

Анна машинально двигалась по кухне, потом замерла у окна. Фонарь освещал подъезд, и она видела, как воз-

ле дома остановилась машина. Она решила, что это все-таки подруга не послушала ее и приехала, и обрадовалась этому. Почему-то хорошо представилось: приедет подруга, и она наконец заплачет, а так сама она не может, все внутри спеклось, и не может. Но из машины никто не вышел, даже дверца не открылась, и такси уехало назад.

Анна стала думать, что надо послать телеграммы и позвонить родным и знакомым и сказать, что похороны будут из дома, но и на это не было у нее сил. И она продолжала ходить по кухне, туда-сюда, туда-сюда...

Вика набирала номер секретаря парткома.

– Господи, ни днем ни ночью, – услышала она уставший женский голос и продолжала слышать и все остальное. – Это тебя... Какая-то мадам... Иди, иди... Но если у нее не пожар, я с тобой разойдусь...

– Умер Алексей Николаевич, – сказала Вика спокойно и твердо. – Позвоните жене, я не могу это сделать, и узнайте все... А потом я позвоню вам... – И она положила трубку.

Он позвонил сам через пять минут и сказал Вике, чтоб она взяла себя в руки.

– Я вполне, – ответила Вика.

Секретарь парткома курил в кухонную форточку и думал о том, как бы повела себя его супруга, случись с ним такое. Эти – подумал он об Анне и Вике – железные. Не ревут. Конечно, размышлял он, там была ситуация.....Можно сказать, это даже выход... Для женщин, имеется в виду... А его, конечно, жалко. Хороший был мужик, без сволочизма... И жить только начал... Квартира, зарплата... Не собирался он туда, не собирался... Вот ведь как... Дышал, ел... Все было при нем... Ну, сердце... А у кого оно сейчас не болит? Не думаешь ведь об этом... Может, когда рак, лучше? Собираешься в дорогу... Знаешь, что ждет. Но тоже, какая тогда жизнь?.. А если ты сегодня живой и теплый, а завтра тебя как не бывало, это лучше?.. Самое лучшее – в бою... Не так обидно... В бою... Но ведь, с другой стороны – не дай Бог... Вот и думай, чего бы для себя хотел?..

Платье, которое подруга сшила Анне, очень ей пристало. Это был ее фасон – высокая кокетка, а от нее вниз чуть приспособленные складки. С изнанки платье было не обработано, швы не заметаны, и Анна, думая вначале о том, что это платье – на раз, потом решила, что его можно будет оставить в гардеробе, если с хорошими бусами или купить дорогое кружево... Анна пугалась, когда такие, суетные, мысли приходили ей в голову: что же это я, спохватывалась она, думаю о таком? И она гнала их, мысли, и начинала о другом... Надо будет брать теперь больше часов. Всегда от них отбивалась по праву мужниной обеспеченной жены. Последнее время, когда все у них в семье было плохо, она уже думала о добавочных часах на будущий год. И ей было это омерзительно. Она просто видела, чувствовала взглядом вздохи коллег... Кто-то бы обязательно сказал: «А теперь вы, Анна Антоновна, как все... Лишним часиком не гнушаетесь...»

Вот и разрешилась теперь эта проблема. Дадут ей без звука полторы ставки, а может, и две... И мысль об одиночестве тоже не была такой пронзительной, как если бы Алексей ушел. Все-таки вдова – не брошенная жена... Совсем, совсем другое дело. Так неужели же хорошо, что Алексей умер? Анна столько раз приходила, и уходила, и возвращалась снова к этой мысли, что в конце концов испугалась. А

испугавшись, нашла наконец ту, которая заставляет переживать не те чувства, которые положено переживать на похоронах. Та была Викой. И Анна сказала всем, кому могла это сказать, что не то что на порог, близко в процессию Вику не пустит, поэтому пусть ей об этом скажут, чтоб не было недоразумений и неприятностей. У нее, у Анны, хватит силы выгнать ее в шею...

– Да! Да! Да! – поддержали все Анну. – Успокойся! – И накапали ей валокордин.

А потом сообщили об этом Вике.

– Хорошо, – сказала она. – Я не пойду.

Все шло, как надо. Не первые похороны на земле. И денег было достаточно, и машин, и венков. Возились на кухне Аннины подруги – готовили поминки, повторял слова, которые надо будет сказать на кладбище, приятель Алексея Николаевича. Не получалось у него складно, сбивался он на: «Дурак ты, Алеша, дурак... Ну что? Вышел из положения? Вышел? Весь вышел, вот что...» Но ведь такое не скажешь... Надо что-то торжественное, после чего «земля пухом» воспринимается как естественный итог... А если подумать? Ну что это такое – земля пухом? Значит, так мягко? Или так легко? Приятель стал нервничать и злиться на данное ему поручение. Лучше б могилу рыть...

Вика сказала: «Хорошо, я не пойду» – и пришла в ужас от этих слов. Как это не пойдет? Что ж она его в последний путь не проводит? Да кто ж ей это запретит! И она рванулась...

Возле дома Алексея – толпа, оркестр пристраивается на лавочке. Кто-то из тех, на чьих руках черные повязки – из месткомовских распорядителей, увидел ее. Подошел и еще раз сказал: жена против. Ну что она – стерва, что ли, если хочет скандала?

– Я не хочу скандала, я хочу проститься, – сказала Вика.

– Знаешь, – сказал распорядитель, – сходи в церковь и поставь свечку. А еще лучше закажи молитву... Я сам не знаю, но говорят, помогает... А сюда не ходи...

– Какой он лежит? – спросила Вика.

– Знаешь, – засмеялся распорядитель, – спокойный. Вроде даже улыбается... Мы посмотрели с ребятами и решили: мы выглядим хуже.

– Спокойный, – повторила Вика. – Спокойный...

Потом она взяла такси и поехала на кладбище. Она приехала немного раньше, и ей пришлось бродить среди могил. Кладбище было молодое, может, поэтому на нем было похоронено много молодых. Вика села на какую-то лавочку и стала ждать. Она дождалась, когда привезли Алексея. До нее докатились слова приятеля, который пожелал ему землю пухом. Она услышала, как застучали по крышке комья земли. Потом могилу засыпали, положили вокруг венки и все пошли к машинам. Она дождалась, когда они отъехали, и пошла к холмику. Вокруг было грязно от сырой земли, натоптано. Она подошла совсем близко, к самым венкам и хотела встать на колени. Но случилось странное: она вдруг почувствовала, что не знает, как это делать? Куда же прощ, согни ноги в коленях и делу конец... Но ноги не сгибались. Так она и простояла прямо, думая о том, что на босоножки налипла грязь и придется в таком виде ехать по городу. Это было ужасно – думать о грязи на босоножках в таком месте, так ужасно, что она зарыдала. Она плакала долго и громко, но легче ей не становилось, а делалось все хуже и хуже, как будто слезами растворились ворота внутри нее и горе входило в них, располагаясь по-хозяйски и надолго.

Потом ее взяли за плечи и повели. Это были люди из следующей процессии, они сделали свое дело и уже хотели уехать, но потом

решили взять Вику. Они слышали, как она плакала, и сочувствовали ей от всей души, тем более что своего горя в той процессии никто не испытывал. Хоронили очень старого одинокого человека, все было естественно, закономерно в его уходе, а тут рядом такие слезы и такая еще молодая женщина.

Вику довели до самого дома, но вопросов не задавали.

...Через три месяца могила Алексея Николаевича осела и уже не выделялась среди других.

...Анне предложили часы в заочной школе, а родительница достала ей ковер три на четыре. В новом индийском магазине она купила красивое ожерелье к тому черному платью.

...Ленка стала курить дома открыто, а вот к пепельнице привыкнуть не смогла. Окурки бросала там, где заканчивалась сигарета.

...Вику приняли в партию. Должность же начальника цеха отдали молоденькой, но горластой девице с опытом руководящей работы. Все сочувствовали Вике, а она никак не могла вспомнить, почему ей так хотелось этого места? В ее спокойствие не верили, и все ждали, когда она сцепится с новой начальницей.

...У Федорова родился сын, нос шляпочкой. Он назвал его Иваном (Жаком, Джоном, Ваном, Луисом, Педро). Федоров громко восхищался медициной и силой укропной воды.

...Секретарь парткома резко перешел на сыроедение и попал в больницу.

...У инструктора райкома все было в порядке со здоровьем, но она этому не верила и открыла на имя мальчика еще один счет.

...Пошли дожди. Потом морозы. В город завезли мандарины и всюду ими торговали. Анна купила пять килограммов. Вика – два. Федоров – десять. Секретарю парткома мандарины были противопоказаны, а инструктор их ела прямо на своем рабочем месте, складывая шкурки в ящик.

– Мандариновый год, – говорили люди друг другу. – Просто мандариновый... Никогда такого не было...

...Алексей же Николаевич... Ах да, его уже не было! К этой мысли все уже привыкли. Тем более что мандарины... ну просто на каждом углу...

...Если бы мертвые знали...

notes

Notes

Содержание

[Галина Щербакова Мандариновый год](#)

[* * *](#)

[Notes](#)